Александр Валентинович Амфитеатров

Марья Лусьева за границей

Дом свиданий

Александр Амфитеатров

Марья Лусьева за границей

«Public Domain»
1910

Амфитеатров А. В.

Марья Лусьева за границей / А. В. Амфитеатров — «Public Domain», 1910 — (Дом свиданий)

«Милан спал. Ночное небо было, не в обычай этому злополучному городу, сине и ясно. Луна висела над готическими колючками собора, подобно желтому апельсину, одиноко позабытому на разрушенной рождественской елке. С тоскливою отчетливостью темнели в вышине бесчисленные статуи громадного здания, похожего, в густой синеве неба, на береговой утес у тихого моря, облепленный, на отдыхе в перелете, серыми стаями, торчком на хвостике, спящих птиц. Галерея Виктора Эммануила безмолвствовала, пустынная и печальная от безлюдья, ослепшая от закрытых ставень в магазинах, конторах, ресторанах и кафе. Только у Кампари еще ярко светились огни и горела за опущенными гардинами бессонная страстная ночь…»

© Амфитеатров А. В., 1910
© Public Domain, 1910

Содержание

От автора 5
I 14
II 21
III 27
IV 34
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Александр Амфитеатров
Марья Лусьева за границей

Дорогому сотруднику и товарищу Михаилу Михайловичу Кояловичу посвящаю два тома «Марьи Лусьевой» в память многих добрых бесед и писем.
Александр Амфитеатров
Fezzano 1911.V. 27

От автора

В предисловии к издаваемой ныне «Марье Лусьевой за границей» мне придется весьма немного прибавить к тому, что говорили предисловия и послесловия к трем изданиям «Марьи Лусьевой», но кое-что должен я повторить из сказанного в них. И прежде всего – предупреждающую просьбу к читателю: не видеть в новой «повести» моей даже попытки к художественному обобщенно быта европейской проститутки-одиночки. О художественности в этих быстрых бытовых и публицистических набросках я совершенно не заботился. Причины, почему, тем не менее, я выбрал для обзора такой острой социальной темы форму «повести», я излагал в первом предисловии к «Марье Лусьевой» (1904 г.): общественный фельетон, инсценированный в виде драматического диалога, легче принимается и усвояется девятью читателями из десяти, чем фельетон такого же точно содержания, написанный в виде рассуждения, как «взгляд и нечто». По-прежнему считаю себя в полном праве сказать: в этой книге нет ни одной страницы выдуманной или вымышленной. Выдумана, конечно, только общая концепция «повести». Да и то, пожалуй, на этот раз не совсем, потому что в 1904 году в Риме я, действительно, встретил в Salone Marguerita[1] русскую немку, совершенно обитальянившуюся, которой обязан весьма многими из рассказов, теперь вложенных мною в уста Фиорины. Словом, вся эта «повесть» – накопление почти сырого материала фактических наблюдений, как непосредственных, так и из первых или вторых верных рук. Проверял я материал этот, как и в «Марье Лусьевой», также и по книжной литературе – и должен сознаться, что латинский Запад изучил свою проститутку гораздо лучше, чем Россия свою, – в смысле общественно-патологического явления. О психологии же ее здесь, наоборот, мало кто заботится, и те шаги, которые в последние 25–30 лет сделаны в этом направлении, преимущественно, французскою изящною литературою, едва ли не всецело вызваны русским влиянием, главным образом, конечно, образами Сони Мармеладовой и Катюши Масловой. Так, например, апофеоз «дешевой проститутки», созданный Марселем Швобом в «Книге Монеллы», даже и начинается как бы гимном в честь Сони Мармеладовой. Но и то вся подобная литература идет из Франции за границу, где и потребляется; западному же буржуа она чужда. Когда француз или итальянец, вдохновясь Толстым или Достоевским, думает написать судьбу проститутки трогательно, он пишет по сухой, условной схеме фальшивую мелодраму – с притворными слезами, как на тазах автора, так на глазах читателей или зрителей. Так ведь, в конце юнцов, обработали здесь и Катюшу Маслову с Соней Мармеладовой. Буржуа нисколько не верит в ту особенную психологию, которую ищет в мире проституции больная, надломленная совесть славянских и, в последние два десятилетия, еврейских писателей (Шолом Аш, Юшкевич и др.). Для буржуа, в глубине души его, la fille

[1] Салон Маргариты *(фр.)*.

joyeuse[2] (старинное название французской проститутки) – по существу – такая же промышленница на общественный спрос, как всякая другая. Если она, по неизжитому средневековому пережитку, еще покрыта позором, то степень этого позора весьма меняется, в зависимости от ее ренты и, при достаточной высоте последней, т. е. на верхушках проституции, сводится почти что к нулю. Если мы сравним западную изящную литературу о проституции с русскою, то удивительна прямолинейная разница в характере и направлении жалости, с которою подходят авторы к предметам своего сочувствия. Я не знаю ни одной яркой литературной вещи чисто латинского происхождения, в которой звучала бы та, полная угрызений общественной совести, чисто моральная скорбь о проститутке, которой потрясают нас Достоевский образами Настасьи Филипповны в «Идиоте» и Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Гаршин в «Надежде Николаевне», Толстой в «Воскресении» и т. д. Латинская литература, начиная с аббата Прево, давала и дает очень сильные и грозные картины ужасов и унижений проституционного промысла (Зола, Гонкуры, Гюисманс, Мирбо, Мопассан), но нетрудно заметить, что вся их скорбь обращается на проститутку-неудачницу и имеет в виду чисто профессиональные бедствия и несчастия проституции: венерические болезни, борьбу с полицией, половое переутомление, алкоголизм, отсутствие заработка, вымогательства и жестокость любовника, раннее увядание и преждевременную старость, потерю красоты, туберкулез и т. п. Сочувствие западного писателя к проститутке, следовательно, строится почти исключительно на экономическом фундаменте. Этого практического элемента не лишена даже старинная трагедия Фантины в «Les misérables»[3] Виктора Гюго, который умел заглядывать в социальные вопросы глубже и человечнее многих писателей своей расы. Для того чтобы французский писатель оценил ужас проституции, он должен видеть проститутку, которой изменил ее промысел. Если промысел кормит и даже развивает благосостояние, то не только Жаны Лоррэны какие-нибудь, но даже писатели гениальной чуткости, как Гюи де Мопассан, тонкие сантиментальные психологи, как Альфонс Додэ, не идут в изображении проститутки глубже той же старинной и внешней fille joyeuse, что царила в литературе XVII–XVIII веков. Разве не благополучнейшее место во Франции «Maison Tellier»[4], разве не счастливы бытом своим женщины рассказа «La femme de Paul»[5], разве не завидно-очаровательна «Сафо»? Европейский писатель (кровный, не подражатель русской школы) жалеет проститутку не за то, что она проститутка, а за то, что у ней может отвалиться нос или развиться скоротечная чахотка, и тогда она на себя не работница и должна опуститься на уровень чудовищной животной нищеты, ужасающей буржуазное воображение, как предел терпения человеческой природы. Мне возразят: а «La Dame aux camélias»?[6] Во-первых, это – мелодрама, во-вторых, Маргарита Готье, подобно своей предшественнице, Манон Леско, погибает жертвою совсем не проституции, но фамильной чести Дювалей, которая сурово восстает против союза Армана с une decllassée[7]. Такая же беда одинаково стряслась бы над бедною Маргаритою, если бы она была не дамою с камелиями, но чистейшею крестьянкою с васильком или горничною с анютиными глазками. Для того чтобы факт проституции оскорбил чувства западного писателя на чисто моральной почве, нужно что-нибудь ужасное, из ряду вон омерзительное, нарушающее законы естества, потрясающее основы общества: кровосмешение «Франсуазы», ребенок, запертый в шкафу, и т. п. Да и то не забудем, что подобные «трагические анекдоты» нарушали душевное равновесие у таких могу-

[2] Веселая девица *(фр.)*.

[3] «Отверженные» *(фр.)*.

[4] «Заведение Телье» *(фр.)*.

[5] «Женщина Поля» *(фр.)*.

[6] «Дама с камелиями» *(фр.)*.

[7] Деклассированный *(фр.)*.

чих и чутких людей, как Бальзак, Мопассан, Зола. Но Жан Лоррэн или Ришар О'Монруа нисколько не постеснялись бы сделать из них смехотворные анекдоты, которые и рассказали бы публике превесело и с совершенно спокойною совестью. Проститутку скорбного, вернее даже будет сказать, мрачного, демонического (и в этом его острое различие от русских) протеста знает в романских странах только поэзия, вышедшая из наследия Бодлэра. Но для этой поэзии – «чем хуже, тем лучше»: в ней много проклятий гнева, много ликующего ада, но святой возвышающей скорби по женщине-человеку, создавшей «Преступление и наказание», «Надежду Николаевну» и «Воскресение», – не ищите, нет. Второстепенные французские авторы, которые, напитавшись Толстым и Достоевским, пробовали отразить эту скорбь, писали либо сухо-теоретические, почти педантические, скорее социологические диссертации, чем романы (Род, Маргерит), либо невероятную сентиментальную пошлость, лгущую и замыслом, и словами, и тоном, и действием.

Литература не может быть сама по себе. Она – отражение жизни. Если один писатель на востоке Европы подходит к проститутке, надрываясь по ней предвзятою скорбью уже за то, что она проститутка, а другой – на западе – на ту же самую проститутку смотрит с совершенно спокойною совестью, буде у нее не гниет тело от сифилиса и туберкулеза, – очевидно, не сами же по себе столь различны эти писатели своими совестями, а ведет их совести разными путями разная жизнь на Востоке и Западе, жизнь, из которой оба писателя органически возникли, чтобы отражать ее явления в зеркале своих дарований. Когда Ломброзо установил драгоценную для буржуа гипотезу о специальной расе преступников и проституток, Запад встретил ее громом рукоплесканий, как успокоительное открытие; а у нас Глеб Успенский впал в истерику от искреннейшего негодования на фатализм «серповидной челюсти», будто бы обрекающей девушку в жертвы разврату. Замечательно, что, покуда русская литература стояла под влиянием французского воспитания, вопрос о проститутке ее также нисколько не беспокоил. Даже величайшие наши писатели из дворян не избегли такого «барского» взгляда на проститутку. Пушкин и Лермонтов – образцы легкого отношения к продажной женщине, причем второй, а в особенности Полежаев, способны были находить веселые мотивы даже в самых непреложных ужасах проституции. Полежаев в «Сашке» с искреннейшим восхищением описал разнос студентами веселого дома и жесточайшее избиение ни в чем не повинных женщин. Для Пушкина, в отношениях к женщинам вообще, типического ученика французов, – проститутка – только приятная мужская игрушка. Если он серьезно задумывается над судьбою проститутки, то трагедия последней для него исключительно в том, что старость отнимет у нее возможность быть игрушкою красивою и занимательною (Лаура в «Каменном госте») и – «что тогда?» Проститутка – человек, живая душа в падшем теле, понадобилась лишь новому русскому писателю из демократизированного дворянства, оскуделого в соседстве с разночинством (Достоевский, Некрасов), которому быстро пришел на смену уже настоящий разночинец чистой воды (Левитов, Воронов, Успенский). Она, если хотите, создание интеллигентного пролетариата. Толстой, – хотя до мозга костей дворянский художник, – не исключение из правила, а его подтверждение. До понимания Катюши Масловой он дорос лишь к 70 годам жития своего. Ранее проститутка возбуждала в нем барскую брезгливость, с которою он боролся теоретически, по долгу, но не по чувству. Вспомните Левина у смертного одра его брата.

В странах латинской культуры не было, да и сейчас нет, ни литературного разночинца, ни интеллигентного пролетариата в той форме, как вылились они в искалеченной запоздалым неправильным ростом культурной России.

Изучая самые тяжелые страницы западной романтической богемы, все-таки видишь очень хорошо, что это лишь подготовительное мытарство куколки, из которой затем в свое время выведется весьма определенная буржуазная бабочка и почти механически найдет себе предназначенное место в старой, на диво слаженной культурной классификации своего

народа. Исключения вроде Бодлэра, Верлэна и т. п. только подтверждают правило огромно преобладающего большинства. Удивительно ли, что не открыли душу проститутки страны, где нет ни «лишних людей», ни «людей из подполья», где неведом художник Пискарев, и где, чтобы хоть сколько-нибудь объяснить публике Раскольникова, играют его сумасшедшим? Когда в французскую беллетристику проникло веяние социализма, вопрос о проституции не мог не выплыть на поверхность в новом свете (романы Эжена Сю). И вот тут-то впервые сказалась та практическая черта латинского гения, о которой я упомянул выше. Отрицательное социальное явление сразу освещено было с экономической точки зрения, и освещение ничуть не изменилось затем по существу, хотя прошло много фазисов в течение добрых 75 лет. Замечательно, что в России этот взгляд на проституцию, с точки зрения романтического социализма, не имел никакого успеха: ему не поддался ни один крупный реалист, хотя все они почитали себя в женском вопросе учениками великой француженки Жорж Санд. Насаждать семена экономического сентиментализма в русском огороде выпало на долю Всеволода Крестовского («Петербургские трущобы»), а затем его песня сразу перешла в бульварную беллетристику и осталась вне литературы. Достоевский разбил это направление даже без сражения и повел, и ведет за собою русский вопрос о проституции вот уже 50 лет. Первое литературное десятилетие XX века посвятило русской проститутке очень много внимания, но ни один из авторов не пошел дальше Сони Мармеладовой. Все писали ее же, лишь воображенную в прямом или обратном освещении. И даже те авторы, которые в последнее время усиленно апофеозируют просппугку как повсеместную носительницу постоянного протеста против, всегда и всюду искаженного неумолимо-последовательным мужевластием, общественного строя, делают ее глашатаем индивидуализма, заставляют философствовать по Ницше и совершать сверхчеловеческие поступки, – даже и из них не один не написал своей собственной проститутки: кто писал Соню Мармеладову обозлившуюся, кто Соню Мармеладову взбунтовавшуюся, но тип остался несокрушимым и непревзойденным. Особо, в стороне, поставить приходится только Настю Максима Горького, рассмотревшего демократическими, родственными глазами своими нечто новое и заветное, чего раньше проститутка не показала ни кающемуся барину, ни разночинцу, ни купцу.

То романтически-экономическое освещение проститутки, которому начало положено Эженом Сю, а у нас Всеволодом Крестовским, хотя и ушло на улицу, но на ней не умерло. Ибо, если в первой своей половине оно препротивно грешило фальшивою сантиментальностью («погибшее, но милое созданье»), то во второй-было глубоко правдиво, – собственно говоря, гораздо правдивее, по основному существу своему, многого, что наговорили о проституции художники-психологи. Ошибка этой школы заключалась только в том, что в свое время стесненная pruderie'ей своего века, она не решилась осветить экономические корни проституции иначе, как с самой эффектной и мелодраматической их стороны: проституция для них – капитуляция женской морали только пред крайностями голода, холода и нищеты. Аболиционистическое движение последних десятилетий также поддалось этой ошибке, чем и объясняются трагикомические неудачи его прекрасных намерений. Десятки лет европейский буржуазный оптимизм никак не хотел согласиться с унизительною истиною, бущо под сенью его мужевластной двухтысячелетней морали народилась или, вернее сказать, возродилась проституция как обыкновенный женский промысел, и быстро развилась, и выросла по тому же закону, по которому развиваются и растут все жизнеспособные промыслы: потому, что при настоящем общественном строе он гораздо выгоднее других видов женского труда. Настолько выгоднее, что противовес вековой морали, предохраняющей женщину от проституции, все слабее и слабее выдерживает напоры наглядных соблазнов «большей доходности с наименьшей затратой сил». С тех пор как исследованием проституции занялись серьезно и пытаются поставить вопрос на научное основание, экономический элемент ее выступил вперед с ужасающей убедительностью. Сейчас в некоторых странах он уже вызвал раскре-

пощение проститутки от полицейского надзора, в других – дело идет к тому же, – и, наконец, более того: в литературе время от времени поднимаются уже голоса, настолько примирившиеся с промышленной) непременностью проституции, что их нисколько не смущает даже возможность «проституционных ассоциаций» (Иерузалем, Жаботинский, Винниченко). Подумать только, что 50 лет тому назад невиннейший роман Боборыкина «Жертва вечерняя» был оплеван как порнографический, между прочим, и за то, что автор написал проституток не только страдалицами, но и промышленницами. А между тем, собственно говоря, Боборыкин только попробовал тверже стать на ту позицию, которую, правда, мельком, но с страшною прозорливостью наметил еще Гоголь, предсказавший в «Невском проспекте» всю потрясающую историю будущих встреч российского идеализма с беспощадною *сутью* проституции. «Правда, я беден, – сказал, наконец, после долгого и поучительного увещания Пискарев, – но мы станем трудиться, мы постараемся, наперерыв один перед другим улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, – и мы ни в чем не будем иметь недостатка». – «Как можно! – прервала она речь с выражением какого-то презрения. – *Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою».*

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, – жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

«Женитесь на мне!» – подхватила, с наглым видом, молчавшая дотоле в углу ее приятельница. – «Если я буду женою, я буду сидеть вот как!» При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

Смысл этой угрюмой сцены показался бедняге Пискареву настолько оскорбительным и несправедливым, что он кончил жизнь самоубийством… Жаль бедного Пискарева: понапрасну погиб он, а течение века показало, что и справедливость-то была не на его стороне, а на стороне той, которая сказала ему:

– Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Что, в переводе на язык цифр, значит:

– Я не имею желания нажить в течение десяти лет каторжного труда преждевременную ревматическую или слепую старость, голодая и холодая на поденной плате в два двугривенных или… неизбежно прирабатывая тем самым промыслом, из которого вы желаете меня извлечь.

Не буду останавливаться на этой теме, ибо мне нечего прибавить к ее развитию после «Женского настроения» и послесловия к «Марье Лусьевой», читавшихся достаточно много, чтобы надо было повторять здесь их основные положения. Еще десять лет назад меня за них упрекали, как изверга какого-нибудь, в бесчувственности и безнравственности. В настоящее время эти положения – только что не общие места! Так быстро идет и творит жизнь, так, в несколько шагов, обгоняет она того, кто в нее всматривается!

Я думаю, что в скором времени должен появиться в России литературный художник, который напишет проститутку, как цельный человеческий образ, без той исключительной прямолинейности и дидактической планомерности, которая до сих пор превращала в «отвлечения» даже лучшие опыты этой живописи. Думаю потому, что уж очень много литературной мысли работает за последнее десятилетие в этом направлении и слишком много литературных сил пробует себя на загадках этого «бытового явления», пытаясь дать его синтез. Театр заполнен проститутками. Андреев, Шолом Аш, Юшкевич, Трахтенберг, Найденов, Протопопов, Фоломеев – вот сколько авторов дало русской театральной публике образы новой проститутки! Покуда она никому не удалась и не удается. Но кому-нибудь удастся. Потому что это литературно нужно, по этому образу тоскует неудовлетворенная совесть века, и скорбное любопытство коллектива не сегодня-завтра перельется-таки в индивиду-

альный талант, который ответит на долгий вопрос еще неведомым, но уже ожидаемым и подготовляемым словом. Если мы вглядимся в историю литературных произведений, сыгравших по разным вопросам русской культуры большую ответную роль («Отцы и дети», «Анна Каренина», театр Чехова, «На дне», «Поединок»), удивительна своевременность их появления, удивительна естественная быстрота, с которою созревшему общественному вопросу откликается созревший художественный ответ.

Очень я завидую этому будущему и скорому художнику, потому что придется ему творить на почве, в которую я, на своем веку, уложил немало внимания и наблюдения, но как публицист-аналитик по натуре, так и не набрался смелости для попытки заключить свои наблюдения художественным синтезом. Теперь же, кроме того, и условия жизни, и возраст отстранили меня от этой темы, и я, собственно говоря, с нею расстаюсь. Но думаю, что, – кто бы ни был тот настоящий художник, которого ждет проституционный вопрос, – два тома «Марьи Лусьевой» послужат ему небесполезным подготовительным и поверочным подспорьем как накопление сплошь фактического материала, «человеческих документов». Много последних остается еще неиспользованными в бумагах моих, и я рад буду со временем передать их хорошему молодому писателю, который захочет ими заняться. Многое же успело уже состариться, так что – в быстро бегущем движении нашей жизни – годится уже скорее для историка нравов, чем для художника, творящего современность.

Жизнь и быт европейской проститутки, если они не приукрашены сантиментальными и слезоточивыми измышлениями апологетического свойства (например, пошлейшая и противнейшая, сплошь солганная «Жизнь падшей» буржуазнейшей Маргариты Бэме или пресловутая «Кларисса»), – гораздо голее, суше, проще и психологически грубее жизни проститутки русской. Особенно в странах католических, где частая исповедь не дает женщине подолгу оставаться наедине с своею совестью, а, следовательно, вынимает из жизни тот религиозно-психологический фермент, который составляет и счастье, и несчастье Сони Мармеладовой. «Поэзия», хотя бы и «отрицательного типа», которой так много подметили русские литераторы в русской проститутке, у западной чувствуется лишь постольку, поскольку она, в промысле своем, скользит по границе преступления, а в этих случаях она, обыкновенно, не самостоятельна, но является лишь тенью мужчины.

Вследствие этой прямолинейности в западной торговле развратом многие страницы «Марьи Лусьевой за границей» стоили мне гораздо большего труда, чем соответственные страницы «Марьи Лусьевой» первой. Итальянская, французская, австрийская проститутка говорит со спокойною деловитостью о таких щекотливых эпизодах своего промысла, признание в которых еще заливает багровою краскою лицо уличной женщины с Невского проспекта или Дерибасовской улицы. Я, без всякого ложного стыда, признаюсь, что многое в этом томе могло бы быть рассказано гораздо ярче и подробнее, и полагаю, что у меня достало бы на то способностей, но – то и дело перо опускалось, и тяжелое впечатление тянуло многое замолчать, многое вуалировать. Не ради лицемерной скромности, а потому, что зрелище ряда опустошенных жизней вводило такую скорбь в душу, что казалось жутким и напрасным переливать ее в души читателей.

Мне столько доставалось на веку моем за парадоксы противоположений, что – одним больше, одним меньше – все равно. Вот:

– Латинский разврат страшен тем, что он совсем не страшен.

Он улыбается и считает, – и это более жутко для «славянской души», чем весь вой Сенной, притворный хохот Невского проспекта, мечтательное безумие Насти, истерика купринской «Ямы» (прекрасная реалистическая вещь, покуда не резонерствует в ней неумный болтун репортер) и холодный вызов андреевских «Христиан»… За воем, хохотом, истерикою, холодом самобытного отрицания вы не перестаете чувствовать *живого человека.* Этого-то вот здесь и нету… Слова избитые и опошленные – «жертва общественного темпера-

мента» – приобретают здесь гораздо более страшное и антисоциальное значение, потому что в русской проституции они почти всегда определяют процесс, еще творящийся, в латинской-завершенный до конца. «Я торгую собой» – в России – до сих пор трагедия, а в Милане, Ницце, Париже – только… вывеска ходячего магазина, лавки или рыночного лотка, гладя по разряду. Из русской или еврейской проститутки проклятый промысел выгрызает душу всю жизнь, до старости, – и то еще остается ее довольно, чтобы до гроба дразнить и мучить женщину утраченною чистотою. Латинская проститутка в большинстве случаев становится к промыслу уже смолоду с опустошенной душой. Или еще того вернее, спрятав куда-то душу впредь до востребования ее на каком-нибудь другом житейском поприще. В промысле она – существо страшное и опасное. Если ей везет, она горда и надменна. В ней просыпается bella e onesta cortigiana[8], привилегированная старой Венецией. Если счастье ей изменяет, она озлоблена, свирепа, плаксива, преступна. Она может быть очень жалка, но по самочувствию она счастливее нашей проститутки. У нее нет отравляющего жизнь стыда самой себя, а стыд промысла регулируется исключительно тем, как относится к ней среда, в которой она вращается. Крестьянские девушки северной Италии, попавшие в проституцию с дозволения своих родителей, возвращаются в деревни весьма гордыми невестами и пользуются таким же почетом и ухаживанием, как будто они свои приданые заработали земледелием, шитьем либо бакалейною торговлею. Все покрывающая фамильность буржуазного уклада, – может быть, от римской «отцовской власти» предание свое ведущая, – как бы берет на себя ответственность за своих дочерей предлюдьми, а дело попа – уладить мир между совестью и Богом. Благодаря всему этому латинская проститутка стоит гораздо выше других европейских сестер как представительница класса, но производит довольно низменное впечатление, с точки зрения той исторической морали, которую мы немножко гордо и самонадеянно называем общечеловеческою. Это – одна из причин, почему в своем нынешнем «обозрении» европейской проституции (главным образом, латинской, так как германская мне мало известна) я выбрал, в качестве commère[9], не итальянку или француженку, но латинизованную «славянскую душу».

Из щекотливых частностей рассказа мне пришлось довольно много отдать внимания злу, которое в России ново, и хотя участилось за последнюю четверть века, но все же сравнительно редко; а здесь оно живет веками в обществе, проявляясь часто и довольно прозрачно, в проституционной же среде – постоянно, зауряд, в большинстве случаев открыто, а иногда и с подчеркнутой показностью. Я говорю об однополой любви. Надеюсь, что мне удалось поставить упоминание об этом несчастнейшем пороке в рамки, в которых он не отравит читательского воображения – за исключением, разумеется, тех, чересчур уж целомудренных пуристов, что приходят в ужас и негодование от каждой попытки озарить дневным светом тот или иной, скрывающийся и гниющий в темной ночи грех. Чем больше я живу и вижу людей и свет, тем больше убеждаюсь, что ползет по Европе эпидемия странного психического состояния, которое назвать половым помешательством будет слишком резко, а неврастенией-не слишком ли вежливо? Гомосексуализм – одна из наиболее частых форм этой эпидемии, а западная европейская проституция – один из ее злейших очагов, наиболее от нее сам страдающий и наиболее опасно заразительный для другихклассов и стран. В страницах романа, касающихся этой язвы, я старался быть сжатым и строгим, как только допускало правдоподобие, но совсем опустить их не почел себя вправе, так как это было бы лицемерною ложью и замалчиванием одного из главных винтов в бытовой механике класса, о котором идет речь. Во всяком случае, уповаю уже на то обстоятельство, что, когда «Марья Лусьева за границей» печаталась в «Одесских новостях», во множестве читательских писем,

[8] Прекрасная и честная куртизанка *(фр.)*.

[9] Кумушка, сплетница, болтунья *(фр.)*.

мною по ее поводу полученных, я не нашел упреков за эта страницы, а семейный провинциальный читатель – цензор строгий. Думаю, что читатели с чистым воображением прочтут и эту часть «Марьи Лусьевой» с тем же спокойствием изучающей мысли, как читали они первую часть; что же касается читателей с воображением распутным, то я, во-первых, уверен, что они не будут удовлетворены моей книгой, ибо покажется ее рассказ им слишком сухою и тяжелою схемою, не дающею полета игривой фантазии; а, во-вторых… какой автор и какая книга спасены от смакования господ, умудряющихся даже азбуку истолковать в неприличность?

Когда «Марья Лусьева» печаталась в «Одесских новостях», я получил довольно много запросов: кончается ли судьба «героини» в этой повести, не вернусь ли я к ней еще раз? Что я могу сказать? Марья Лусьева уехала в Америку. В Америке я не был и тамошней проституции не знаю. Писать о том, чего не видал, не умею. Если же попаду когда-нибудь в Америку, то – пожалуй; commère, с которою я теперь расстаюсь на 3 4-м ее году от рождения, я застану там уже в том почтенном возрасте, когда женщинам ее профессии, по их собственной поговорке, остается только Богу молиться да сводничать. Но так как у меня имеется еще очень большой запас неиспользованных «человеческих документов», то, может быть, сбыв с плеч более крупные литературные работы, я напишу несколько рассказов о подругах Марьи Лусьевой, упоминавшихся в этих двух томах, по их автобиографическим показаниям, хранящимся в архиве моем. Но это – улита едет, когда-то будет…

А покуда обращаюсь к читателю «Марьи Лусьевой за границей» с большою авторскою просьбою: если эта повесть попадет ему в руки раньше «Марьи Лусьевой», – хоть потом прочитать послесловие мое к той первой повести, так как оно договорит ему много такого, что поставит его на должные точки зрения относительно и «Марьи Лусьевой за границей».

Александр Амфитеатров
Fezzano. 1911.V. 26

P.S. К «Марье Лусьевой» прилагался мною список сочинений, которыми была она проверена в бытовой части. Те же самые 29 названий служили мне для проверки «Марьи Лусьевой за границей». Прибавить надо:

G. Ferrero. Bianchi e S.Sighele. Mondo criminale.

G. Ferrero e Sighele. Le Gronache criminali Italiane.

Haveluck Ellis. Etudes de psychologie sexuelle. Volumes I et II. Deuxième édition. P. 1908–1909.

August Foret. Die sexuelle Frage. München, 1889.

R. de Krqfft-Ebing. Le psicopatie sessuall Torino, 1889.

Garnier. Anomalies sexuelles apparentes et cachées 4-me éd. P.

A. Niceforo. Le psicopatie sessuali acquisite e i reati cessuali. Roma, 1897.

P. Brouardel. Les attentats aux moeurs. P., 1909.

Sihio Venturi. Le degenerazione psico-sessuali. Torino, 1892.

S. di Giacomo. La prostituzione in Napoli. Napoli, 1899.

Gaston Vorberg. Freiheit oder gesundheitliche Ueberwachung der Gewerbsunzucht? München.

L.M. Moreau-Christophe. Le monde des coquins. P., 1864.

Дмитрий Дриль. Преступность и преступники. СПб., 1895.

Eugène Villiod. Comment on nous vole et comment on nous tue. P., 1905.

G. Alongi. La mafia. Milano, 1904.

A. Outrera. La mafia e i mafiosi. Palermo, 1900.

Иван Блох. Половая жизнь нашего времени и ее отношение к современной культуре. СПб., 1909.

Д-р Фияос. Сцена и проституция. Со статьей д-ра Б. И. Бентовина «Проститутки в освещении современной русской сцены». СПб., 1910.

Д-р Б. Бентовин. Дети-проститутки. СПб., 1910.

Д-р Б. Бентовин. Торгующие телом. Изд. 3-е. СПб., 1910.

Max Gruber. La prostituzione considerata dal punto di vista dell igiene.

Recagni G. La camorra.

Так как я, живя за границей, получаю и читаю корректуру только в гранках, то поэтому, я, к сожалению, не мог дать здесь постраничного «распределения справок», подобного тому, как было в «Марье Лусьевой».

I

Милан спал.

Ночное небо было, не в обычай этому злополучному городу, сине и ясно. Луна висела над готическими колючками собора, подобно желтому апельсину, одиноко позабытому на разрушенной рождественской елке. С тоскливою отчетливостью темнели в вышине бесчисленные статуи громадного здания, похожего, в густой синеве неба, на береговой утес у тихого моря, облепленный, на отдыхе в перелете, серыми стаями, торчком на хвостике, спящих птиц. Галерея Виктора Эммануила безмолвствовала, пустынная и печальная от безлюдья, ослепшая от закрытых ставень в магазинах, конторах, ресторанах и кафе. Только у Кампари еще ярко светились огни и горела за опущенными гардинами бессонная страстная ночь.

Двое русских, только что слезших с бесконечно опоздавшего поезда из Венеции, шагали по улице Манцони, решительно не зная, куда им деваться, так как ранним утром, уже в начале шестого часа, их ждал поезд на Геную, и, стало быть, останавливаться на ночлег в гостинице не было смысла: лечь в постель – только разморить себя коротким сном и приготовить себе досадную пытку мучительного пробуждения, не выспавшись. На вокзале пассажирские комнаты, по правилу, ночью закрыты, и оставаться в них посторонним лицам воспрещается.

– Одно остается, Матвей Ильич, – ударимся до утра по кабакам!

– Да! – возразил Матвей Ильич, – отчего бы не удариться, если бы мы хоть сколько-нибудь знали город? А то мне о Милане только то и известно, что есть в нем какой-то великолепный собор и какая-то знаменитая галерея, где певцы и певицы со всего мира гуляют в ожидании ангажементов, как невесты на смотринах.

– Вот в эту галерею и нацелимся. Где имеются певцы, там, наверное, найдутся и кабаки. Ибо профессия характера пьющего и поведения предосудительного.

– Не до третьего же часа ночи они за ангажементами бегают!

– Третий час ночи для гулящего человека время детское. По моему соображению, именно до этого срока – который не получил ангажемента, должен пить с горя, а который получил – вспрыскивать магарычи… Во всяком случае, огоньки какие-нибудь теплятся. Пойдем на огоньки.

– Не забрести бы в какую-нибудь трущобу. Со мной денег порядочно. Риск. Народ здесь ловкий.

– Нет, Матвей Ильич, не надеюсь. По плану, это – центр города, самая шикарная часть. В таких местах трущоб не бывает. Полиция не потерпит.

– А парижские «су-соли» на больших бульварах?

– Так это же одна видимость для нашего брата, иностранца! Наслушались и начитались мы от юности своей, что Париж – город извращенного разврата, вавилонских пороков и адских преступлений. Попал в Париж, – натурально, первым долгом спрашиваешь: «А где тут у вас извращенный разврат, вавилонские пороки, адские преступления и прочие специальные продукты местного производства?» – «Ах, пожалуйте! У нас про вас!..» Был бы спрос, а предложение французский буржуа уж приготовит в лучшем виде. И вот, к совершенному удобству покупателя, вам даже на темные окраины не надо забираться и в действительно подозрительном и голодном обществе шкурою своею незачем рисковать. Все ужасы позора и грехопадения вы обретаете в самом сердце Парижа: по крайней мере, сотня наберется этаких ночных магазинов, во вкусе Шнитцлерова «Зеленого попугая», торгующих сильными ощущениями – в пределах, терпимых полицией вообще и полицией нравов в особенности. О разных открытых кафе и кабаре Монмартра я уж и не говорю: там-то сплошная театральщина, годная только для доверчивого тупоумия англичан. Лубок и ста-

тисты. Но даже и в заправских местах. Вы, скажем, хотите видеть девок и апашей в их собственном романтическом быту? Пожалуйте – около самых Halles[10] – вот вам Caveau des Innocents[11]: ужаснейшее средневековое подземелье, с коридором-лазом, в котором два человека не могут разойтись, и мужчина среднего роста должен идти нагнувшись. На дне этой закопченной ямы вы находите действительно оргию всякого рода бывших людей обоего пола. В настоящей декорации настоящие фигуранты. Можете насмотреться грозных лиц, цинических жестов и плясок, наслушаться грязных слов и песен, даже попасть в историю, быть обруганным, получить в шею… ведь и на это есть охотники! Помню, как ко мне в Париже один благополучный россиянин, захлебываясь от восторга и ужаса, прикатывал на автомобиле: «Знаете? я вчера из Caveau des Innocents едва жив выбрался! Не понимаю, как уцелел. Уже блистали ножи… Хорошо, что полиция вовремя подоспела!..» А в действительности-то, даже и здесь вы безопасны, как в отделении универсального магазина: сильных ощущений отпустят вам – аккурат, сколько требуется, чтобы вас в романтизме вашем утешить и чести заведения не посрамить, – торгово, деловито, без обмера и обвеса. Как Подхалюзин хвастался: хоть малого ребенка пришлите, и того не обсчитаем. Ножи иной раз блещут, точно, но полиция всегда приходит, – то есть хозяин кричит, будто она идет, – как раз вовремя, чтобы ножи перестали блистать.

– Ну да! Вам поверить, так в Париже и не грабят, и не убивают, и не насилуют.

– И грабят, и убивают, и насилуют, да не так, как все это воображается и пишется, и не там, где этих, как бы вежливее выразиться, зрелищ, что ли, ищут. На этот счет удивительные суеверия существуют. Я в Париже жил близ Булонского леса. Послушать добрых буржуа, так ночью по лесу пройти нельзя: даже, мол, на главных аллеях вы рискуете, что апаши выскочат из кустов, сцапают, уволокут за деревья, и хорошо еще, если только ограбят, а то и горло перережут да в пруд спустят с камнями за пазухой. «А я, как нарочно, именно по ночам гулять люблю, когда дерево дышит». – «Что вы! Как можно! Боже вас сохрани!..» Истории о нападениях рассказывают, одну другой страшнее. Но я питаю склонность к логическому исследованию. «Позвольте! Да разве в Булонском лесу много гуляющих в ночное время?» – «Наоборот: никто туда и носа не показывает». – «В таком случае для какого же черта будут там сидеть апаши? Что у них за страсть удивительная – подстерегать прохожих именно на таком месте, где прохожих никогда не бывает?..» И бродил я потом преспокойно от Огейля к Лоншану, к озерам, – случалось, целые ночи напролет, – и, кроме городовых, никогда ни одной подозрительной двуногой твари не встретил. Не может быть волкатам, где нет дичи, ни акулы либо щуки, там, где нет рыбы. Всякий промысел, честный или бесчестный, предполагает не только промышленника, но и промышляемое. Нельзя быть проституткою в пустыне, на необитаемом острове или на макушке неприступной скалы. Недаром же публичных женщин в старину дразнили: «Проезжий шлях!» Матвей Ильич засмеялся.

– Положим, сирены Одиссея, Лорелея на Рейне и царица Тамара в глубоком ущелье Дарьяла доказывают обратное.

– Помилуйте! Как обратное? Именно то самое. Все они как раз на самых, что ни есть, проезжих шляхах селились, у великих горных, речных, морских путей. А – что неприступность себе устраивали, так это именно вроде тесных коридоров в Caveau des Innocents: чтобы лезть к ним чрез неприступность было заманчиво, таинственно и лестно. На самом-то деле ничего трудного нет, а видимости трудной много; одолеет человек декоративную тесноту или крутизну романическую, – пыхтит, в поту, а сам горд: вот я какой герой! не каждый, мол, на такую штуку ради женщины решится и подобные подвиги подымет! Ну и сейчас же на

[10] Крытый рынок *(фр.),* имеется в виду Центральный рынок в Париже.

[11] Погребок Иннокентия *(фр.).*

радостях, – хоть распотроши его: за все рад платить вдвое, потому что – герой!.. Шампанского! Птичьего молока!

Вышли на площадь, полюбовались, в тихой луне, фигурным гробом собора и смелым овалом арки в галерее, проверили под портиками редкое матовое свечение еще не угасших окон и направились к ближайшему – вошли в ночное кафе Кампари.

– Ну, видите: чутье не обмануло меня, – не знаю что, но во всяком случае далеко не трущоба!

Матвей Ильич, под стон и вихрь венского вальса, разливавшегося с эстрады из-под скрипок дамского оркестра, кивнул головою, водя глазами в напрасных поисках свободного места.

– Довольно шикарно. И – какая масса публики! Негде сесть…

– Попробуем счастья в других залах. Эй! вы! синьор! Понимаете по-французски?

Слуга показал им удобный столик в углу между двумя сходящимися бархатными диванчиками.

– Что у них тут пьют? – спросил Матвей Ильич. Другой русский огляделся.

– Кажется, ничего не пьют… Кто над чашкой кофе застыл, у кого мороженое… А вон там у окна старик просто за стаканом воды благодушествует…

– Ну, я так не привык… Что за общество трезвости в четвертом часу ночи! Вина-то спросить можно ли?

– Где же в Италии нельзя спросить вина? Полагаю, даже в соборе Петра в Риме, если закажете – и то никого не удивите.

– Так велите, Иван Терентьевич. Что же время терять? Ночь коротка.

– Неизбежное кьянти, что ли?

– Да неужели у них нет чего-нибудь серьезнее? Удивительный народ! Вино родится в каждой деревушке, а пить нечего. Либо ординерчики, либо – «шампань! шампань!» Три тысячи лет вино делают, а порядочные марки выдерживать так и не научились.

Посоветовались с камерьером, – тот подал им запыленную серую бутылку старого пламенного бароло. Густая кровь пьемонтского винограда, как водится, отдавала сургучом и еще какою-то совершенно непредвиденною дрянью, но язык чувствовал безукоризненную чистоту невкусного и даже как бы слегка вонючего вина, и кровь от него загоралась и весело бежала по жилам, и сердце играло быстрым, радостным ритмом.

Иван Терентьевич с узенькими блестящими глазками бросал умиленные взоры на пестро разряженных женщин, во множестве сидевших за столиками, преимущественно, подоконной линии, – группами: кто играя в кости и карты, кто за кофе и шоколадом – и восклицал восторженно:

– Девья-то! девья-то! Миллион двести тысяч! Господи ты Боже мой! И – какие все нарядные да видные, Бог с ними…

А вы еще ругаете итальянок, будто – только слава, что хороши, а на самом деле – красивой и породистой днем с огнем не сыщешь!

– Согласитесь, однако, что мы нашли этих красавиц как раз именно не днем, а только ночью.

– Просто обидно, что поутру надо уезжать! В каждую подряд влюбиться готов. Разве остаться денька на три? Матвей Ильич! А?

– Ну нет-с! Это – дудочки… Довольно в Вене куролесили. Берегите карман. У нас еще Монте-Карло впереди.

– Да что же? Чертова рулетка все равно слопает, сколько ни привезем… Лучше меньше, чем больше.

– Ну, я другого мнения.

– Уж не выиграть ли надеетесь? Шалости, батенька! Скорее рак свистнет… Знаете ли: черта ли мы будем дальше тянуть это коричневое пойло? Что-то душа простора просит. Закажем-ка два флакончика шампанского да пригласим которую-нибудь из этих душек, чтобы содействовала веселости и умягчению нравов…

– Поздно. Сейчас каждая мечтает уже не об ужине с вином, а – зацепить бы компаньона, который даст заработать…

– Ничего! Можно и на этот счет успокоить. Посулим бумажку в 50 лир, – каждая почтет за честь и благополучие.

– Пятьдесят лир! Эка вас разбирает! Москвич! А еще читает мне лекции о парижских «су-солях»… Там за двадцать франков садится к вам такое блондовое фру-фру, что – показать у нас в К. подобный туалет, так половина дам заболеет от зависти, а губернаторша удавится.

– То – Париж, а в провинции цена шику растет!.. Так как же, Матвей Ильич? Ангажируем что ли?

Матвей Ильич оседлал нос золотым пенсне, проверил пестрый ряд красавиц и пожал плечами.

– Не знаю, чем вы восхищаетесь, – брезгливо сказал он. – Вы, должно быть, больше меня вина этого сургучного выпили. Головки есть красивые, согласен, да… глаза, волосы… в чертах статуйное что-то, правда… Но зато…

– Матроны, Матвей Ильич! – лепетал Иван Терентьевич, блаженно жмуря глаза, – смею вас уверить: настоящие римские матроны!

Матвей Ильич усмехнулся.

– То-то и нехорошо, что, пожалуй, вы правы: уж даже слишком матроны. Ни одной молоденькой. Все – держаный товар, лет за двадцать за пять, а то и ближе к тридцати. Намазаны густейте. И толстухи какие! Словно из гарема персидского шаха сбежали…

– Ватою, поди, сплошь обложены: потрафляют на южный вкус.

– Фигуры, Бог их суди, ужасные. Хороши, нечего сказать, портнихи в Милане! Что ни женщина, то куцая талия и квадратная спина. Материи дорогие, а фасоны прошлогодние, и выбор цветов – с лубочной картинки… Героини не моего романа.

– Вот привередник! Слушайте: да что я – навек жениться что ли вам предлагаю? Просто – пусть посидит у стола и поврет нам ерунду свою какую-нибудь… Авось за час или за два, покуда заведению торговать осталось, не успеет она погубить навеки ваш тонкий эстетический вкус?

– Да на каком же языке, наконец, мы говорить-то с ними будем? – оппонировал Матвей Ильич. – Ведь, небось, они по-французски – ни бе, ни ме, ни кукареку?

Но Иван Терентьевич подмигнул непобедимо.

– У меня, батюшка, эсперанто.

– А вы думаете, они понимают эсперанто?

– Мое-то? Трактирно-международное? Где же его не понимают? Да загоните меня не то что в Милан, а хоть в Патагонию, – я и там не пропаду. Только бы встретил слугу из ресторана либо девицу легкого поведения, а затем обо всем превосходно сговориться и условиться сумеем, хотя сейчас, откровенно сказать вам, даже хорошо не помню, на каком языке в Патагонии говорят, и есть ли в ней особый язык.

– Вот дар! – засмеялся Матвей Ильич. Иван Терентьевич самодовольно продолжал.

– Я в этой своей специальности подобен поэту Бальмонту, который, когда осеняет его вдохновение, понимает все чужие языки так же свободно, как русский, хотя бы никогда их не изучал и даже ранее не слыхивал. Однако вы меня в сторону не отвлекайте, зубов не заговаривайте! Ну-с? Я намечаю для себя вон ту, рыжую, с голубым пером, которая вот уже полчаса все один бокал пива пьет… А вы?

– Погодите. Может быть, еще и не удобно, не принято этак-то к ним адресоваться, – напрямик, со свойственным вам, москвичам, нахрапом?

– Вона! За герцогинь, что ли, вы их принимаете?

– Я очень хорошо вижу, что все они сплошь – крашеные проститутки, но очень может быть, что у них тут принят какой-нибудь свой этикет промысла, о котором лучше заранее справиться?

– Ну вот! Если девицы сидят в три часа ночи в кафе без кавалеров и платят за консоммацию собственными деньгами, это свидетельствует, что рынок ужасно плох, и, значит, они будут рады нашему угощению, яко нисшествию доброго ангела с небеси.

– Однако обратите внимание: разве не странно, что вот вошли мы, сидим за бутылкою хорошего вина, тогда как на других столиках тянут грошовый лимонад либо просто воду из-под крана, оба отлично одеты, очевидно, иностранцы и люди с деньгами, – следовательно, казалось бы, прямая для этих голубушек добыча. А между тем из них ни одна до сих пор не то что не пристала к нам, но даже не посмотрела на нас пристально. В Петербурге, Варшаве, Берлине, Вене нас давно уже облепили бы, как мухи мед.

– Я вижу, – засмеялся Иван Терентьевич, – ваше мужское достоинство уязвлено и страдает, зачем приходится сделать первый шаг?

– Нет, не мужское достоинство страдает, а осторожность учит. Знаете, что город, то норов. У меня в Антверпене случай был, в кафе Вебер. Сидит тоже вот так-то некая Рубенсова мадонна – примет профессиональности несомненнейших – и так же, как вот эти две, с подругою в кости играет. Вижу: товар подходящий. Сажусь рядом, приподнимаю шляпу. Что же вы думали? В ответ – взгляд королевы этакой брабантской, – как кипятком меня обварила.

– Что вам угодно?

– Угодно, если вы не прочь, предложить вам свое общество, ужин и бутылочку-другую шампанского.

Королева брабантская смотрит мягче, но продолжает:

– Позвольте! На каком же основании? Мы с вами незнакомы. Вы мне еще не представлены.

– Ну, ют какая вы строгая! Что за счеты? К чему столько церемоний? Познакомиться недолго: я мужчина, вы женщина, я, скажем, Жан, вы, предположим, Марго.

Но она перебивает меня весьма учтивым, но деловым этаким, веским тоном:

– Все это прекрасно, но мой любовник ничего мне о вас не говорил. Я не могу быть в компании с господином, неизвестным моему любовнику. Франсуа будет недоволен и поколотит меня, а вы рискуете получить скверную историю. Уже и то нехорошо, что вы так – сами подошли ко мне. Вы, очевидно, иностранец и не знаете порядков. Вам следовало обратиться к слуге и спросить: «Не знаете ли вы, кто друг этой дамы?» Слуга свел бы вас с моим Франсуа, а Франсуа представил бы мне. Вот как делаются у нас порядочные знакомства… Потому что, – вы понимаете, monsieur, – слуга тоже имеет в деле свой процент, и мы все друг перед другом – на честном отчете и должны контролировать общую работу…

– Черт знает что! да это целая система! Но где же я должен искать вашего Франсуа?

Она сейчас же моргнула ближайшему официанту. Тот весьма почтительно ведет меня в уголок к субъекту с весьма поношенной рожей и рубцом на носу, но одетому по последней и солиднейшей лондонской моде.

– Мосье Франсуа, вот иностранец ищет вас, чтобы сказать вам несколько слов.

Мосье Франсуа встает из-за партии в пикет, которую вел против какого-то добродушнейшего и приличнейшего с виду лысого господина, извиняется пред партнером, учтивейше заявляет, что он очарован честью познакомиться со мною, и просит меня удостоить – принять от него рюмку коньяку.

– С тем, чтобы я платил.

– Мосье! Вы хотите меня обидеть. К чему такая мелочность между порядочными людьми?

– Тогда позвольте, в свою очередь…

– А! это с удовольствием, от порядочного человека – всегда с удовольствием…

И вот – присели мы за отдельный столик и повели деловой разговор.

– Мосье, вероятно, желает быть представленным мадемуазель Сидализе?

– Да, если ее зовут Сидализой.

– Я уверен, что мадемуазель Сидализа ничего не будет иметь против знакомства с вами. Быть может, мосье будет так любезен – сообщить мне свои намерения относительно мадемуазель Сидализы?

– Любезнейший мосье Франсуа, мне кажется… что же я могу вам сообщить? Намерения мои – зауряднейшие, ничего необыкновенного в себе не заключают и сами по себе ясны, как белый день.

Тогда джентльменствующий хулиган мой принимает докторальный вид и, с миной снисхождения к моему невежеству, разъясняет:

– Дело в том, мосье, что искусство мадемуазель Сидализы весьма разнообразно, и я желал бы заранее знать, в какой именно форме вы желали бы с ней познакомиться?

Я смотрю на него дурак дураком, наконец отвечаю:

– Да, полагаю, что в той же, как изобрели праотец Адам и праматерь Ева по наущению змия райского.

– А! Понимаю вас. Превосходно… А то, видите ли, мосье, многие предъявляют особые требования…

И рассыпал примерцы. Ну, я, знаете, не красная девушка и добродетелями не отличаюсь, но, слушая, клянусь вам, чувствовал, что даже уши у меня алеют. А он – ничего, хоть бы глазом моргнул, словно читает вслух прейскурант магазина. Да еще:

– Я, – говорит, – мосье, человек нравственный, добрый буржуа, и всех подобных развратных штук весьма не одобряю. Но профессия обязывает, и мы, volens-nolens[12] (произносит конечно: «волян – нолян», – догадывайся!), должны стоять на уровне вкусов и спроса наших клиентов. Скрепя сердце, я разрешаю мадемуазель Сидализе идти навстречу некоторым из этих странных прихотей, но – вы, конечно, сами понимаете, – лишь по значительно возвышенному тарифу.

И – выпучив этак гордо грудь, и с величайшим благородством в голосе:

– Но есть типы шалостей, которых мы с Сидализою, как люди нравственные, даже ни за какую высокую цену не допускаем! Ни-ни-ни! Принцип! Ни даже за сто франков!!!

– А если кто-нибудь предложит двести?

– Ах, мосье, грешно искушать бедность и труд. Принцип!.. Да и кто же в нынешнее тяжелое время платит по двести франков? Впрочем, если прикажете…

– Нет, нет! Я только для примера, пошутил. Я не специалист, человек старого века. Сохрани меня Бог, чтобы я ввел вас в соблазн! Сберегите ваш прекрасный принцип свято и нерушимо!

Сидализа его оказалась девочкою веселою и забавною. Мы с ней премило прокутили затем три дня в Антверпене, съездили в Брюссель, Лилль, Льеж. Мосье Франсуа за все это время ни разу не показался на нашем горизонте, – деликатнейший человек! Лишь перед самым моим отъездом вынырнул на вокзале – пожелать мне счастливого пути. Опять, при сем удобном случае, выпили по два стаканчика коньяку и обменялись сигарами. Его сигара оказалась превосходнейшая, куда лучше моей, хотя, вы знаете, я курю недурные и дорогие… Но я уверен, – инстинктом все время чувствовал, что он всегда был близко – сидит где-

[12] Хочешь не хочешь, волей-неволей *(лат.)*.

нибудь за перегородкою и, невидимый, следит соколиным глазом в какую-нибудь всевидящую щель, учитывая по своему каторжному прейскуранту, не превысили бы блаженства, мною получаемые, договорные рубрики по тарифу. И – чуть что – запишет extra[13]. Деловой народ, черт их побери! Нашим российским до них – куда же! далеко! У нас всюду душу суют, даже проститутку с иллюзией покупают, даже на разбой с идеализмом идут. А на западе – чисто. На сколько разврата спросил, на столько тебе в обрез и отмерят. Литр и три четверти поцелуев! Два с половиной метра объятий первого сорта! Нежных слов и взглядов по двадцати франков за кило! Ночь аккуратно высчитана от такого-то часа и минуты до такого-то. Добросовестности коммерческой и чувству собственного достоинства – нет предела. Души и стыда, совести человеческой – никаких!

[13] Высший класс *(лат.)*.

II

– Так-с, вздохнул Иван Терентьевич. – Все это весьма прекрасно и, покорно вас благодарю, даже, можно сказать, нравоучительно. Тем не менее, позволю себе обратить ваше просвещенное внимание на сей вновь прибывший экземпляр.

Матвей Ильич взглянул по указанному направлению. Под огромною темно-зеленою шляпою-котлом, колышающею лес черных перьев, эффектно развалясь на стуле, чтобы выставить красивую руку в полуснятой перчатке, чтобы опять-таки показать яркую каплю чистого изумруда на мизинце, широко распахнув горностай накидки, темно-зеленой, как кедр, и тяжелой, как церковная портьера, шикарно вывесив из-под великолепнейшей юбки, тоже темно-зеленой драгоценной какой-то материи, стройно обутую ногу в сквозящем черном чулке, – сидела женщина, имевшая вид не то чтобы незаурядной, но, во всяком случае, не дешевой кокотки. Слуга поставил перед нею высокий бокал шерри-коблер с длинною соломинкою. Изредка наклоняясь к напитку своему, она перебрасывалась с другими женщинами, которые относились к ней с заметным почтением, короткими фразами. Звук ее голоса раза два долетал до русских и заставил Матвея Ильича удивленно поднять брови.

– Гм, – сказал он, вглядываясь, – если бы я не был совершенно уверен, что до вчерашнего дня в Венеции никогда в жизни не знавал ни одной итальянки, то – мог бы ошибиться… Эта дама очень напоминает мне кого-то… знакомую и голос ее как будто я уже слышал… позвольте… когда бы и где?..

Иван Терентьевич пригляделся и сказал:

– А, знаете, по-моему, и она на вас знакомыми глазами смотрит…

– Не понимаю. А хороша… и этакая – distinguée…[14] Если бы не крашеная, да не здесь, и в такое вызывающее время встретились, то можно было бы принять за даму из общества…

– Ну, нет, – отозвался Иван Терентьевич, – годков пять-шесть, а то и поболее тому назад, – может быть. А сейчас – ни-ни! Вы посмотрите, как она сидит и курит. Выставка! Витрина! Только билетика с ценою не хватает – prix fixe![15] Это профессиональное. И глаза профессиональные. Я проститутку, сыщика и вора-специалиста по глазам из тысячи других людей узнаю. Сыщики затем и носят темные очки, чтобы общностью Каинова света в очах своих себя не обнаруживать. У проститутки «беспокойную ласковость взгляда» наш Некрасов раньше Ломброзо подметил и тремя словами великолепно очертил. Взгляните по залу, сколько глаз – все разные цветом: черные, карие, голубые, серые; разные формою: круглые, продолговатые, широкие, узкие, впалые и глубокие, будто выпадающие из орбит и стреляющие по сторонам, – и все одинаковые: колючие, беглые, выпуклые, напряженные.

Проститутка всегда смотрит либо прямо перед собою, в пространство, либо вниз, в землю, а видит далеко все и всех по сторонам. Что-то щучье в этом есть. Не то чтобы хищное, а, так сказать, добычливое. Иногда мне кажется, что они способны видеть затылком. Этакое, знаете, перемещение зрения, как Шарко показывал на своих истеричках. У этой госпожи великолепное лицо. Но вот сейчас она отвернулась от нас почти в три четверти и говорит с желтоперою подругою, так что мы видим только ухо и щеку ее. Я уверен, по выражению лица подруги, что она говорит о нас, и краешек глаза ее, скосясь, как-то ухитряется видеть нас и непрерывно наблюдать…

Иван Терентьевич был прав, потому что, когда Матвей Ильич, сняв шляпу, обнаружил, что над весьма красивым и изящным лицом его красуется совсем не пышная шапка волос,

[14] Изящная, видная *(фр.)*.

[15] Твердая цена *(фр.)*.

которую обещали густые усы и бородка, а обыкновеннейшая бюрократическая лысина, то темно-зеленая дама в горностае быстро обернулась с выражением разочарования.

– Mais non, c'est pas lui, – долетело до русских ее восклицание – на французском языке и с очень хорошим произношением. – L'autre avait de beaux cheveux et celui-ci quoiqu'il ne soit pas mal du tout est tout de même chauve[16].

– Il aura p't'être régalé ses boucles aux médecins des malades ségrètes?[17] – захохотала желтоперая соседка, твердо, по-итальянски отчеканивая каждую гласную и употребляя вместо французских итальянские глаголы и прилагательные, но во французских формах.

Третья, с коричневым пером над угрюмым прямоугольным носом между двух вороньих глаз, подхватила, зюзюкая и цокая с беспощадным пьемонтским акцентом:

– Ce n'est pas d'après les cheveux qu'on reconnaît les hommes. Ils perdent leurs poils plus facilement que les fazzoletti[18].

– Особенно такие красавчики, – подхватила желтоперая. – Я бы охотно подцепила его на эту ночь.

Красавица в темно-зеленом туалете лениво подняла руку и покачала указательным пальцем в воздухе.

– Извините, синьорина, за мною право первенства.

– Эта Рина – ненасытная львица! – воскликнула желтоперая, притворяясь обиженною, но с лестью в голосе. – Всегда забирает себе самых лучших мужчин.

Но та, с вороньими глазами, вступилась:

– Надо быть справедливою. Во-первых, Рина его открыла и показала нам. Во-вторых, именно на нее пучат оба они свои глазищи.

– А, в-третьих, – сказала красивая Рина, – повторяю вам: этот лысый милашка необычайно похож на одного моего знакомого русского.

– Э, черт! – возразила желтоперая, – все гости на кого-нибудь похожи. Я всегда – всех и каждого – уверяю, что он – вылитый мой первый. Это им нравится, и многие раскошеливаются, дураки – так, дал бы mancia[19] пять лир, а глядишь – кладет десять. Они воображают, что волнуют меня… хо-хо!..

– Положим, взволновать тебя не трудно, – заметила вороноглазая. – Ты влюбчива, как колдунья.

Желтоперая засмеялась.

– Было бы в кого! Лысые красавчики не часто к нам приходят. Ах, грызи его кости! Он мне, в самом деле, нравится… Рина! уступи!

Темно-зеленая щеголиха Рина улыбнулась, обнаруживая очень свежие, прекрасной формы и, кажется, свои зубы.

– Ни за что.

– Ну, по дружбе?

– Именно по дружбе не уступлю. Сколько раз в месяц Чарлоне колотит тебя за то, что ты влюбляешься в своих гостей? Если ты поедешь с этим, то завтра поутру быть тебе битой.

Желтоперая возразила с меланхолическим шутовством: – Если я ни с кем не пойду, то Чарлоне тоже меня вздует: ибо он вчера дьявольски проигрался, дочь моя, и зол, как три дня не кормленный сатана. Так что – не береги меня, моя ласковая: procure moi ce plaisir et quant à être battue tant pis! «Al mangiare *gaudeamus* al pagare *sospiramus*»[20]. И все три захохотали.

---

[16] Нет, это не он… У того были превосходные волосы, а этот хотя и не дурен собой, но лысый *(фр.)*.

[17] Быть может, он подарил свои кудри докторам секретных болезней? *(фр.)*.

[18] Волосы не примета для мужчин. Они теряют свою шерсть легче, чем платки *(фр.)*.

[19] Mancia, di buona mano – на чай, на водку, на булавки *(ит.)*.

[20] Доставь мне удовольствие, а что до побоев, – уж так и быть! «Кушая, *возрадуемся,* платя, *востоскуем».* (Пословица:

– Ну опять заитальянили! – огорчился Иван Терентьевич. – А то, слышали? Изъяснялись по-французски. Положим, скверно, кроме той, – знакомой-то незнакомки, а все-таки по-французски – и, судя по темам и усиленному невниманию, которое они продолжают нам оказывать, все это делается специально для нашего с вами удовольствия. Эти дамы подобны добродетельному помещику Силину, которого описывал Козьма Прутков. Они учат французские вокабулы, дабы заслужить всеобщую любовь. Великолепно. Теперь у нас пойдет уж музыка не та. Проведем час в радости… Garèon! Cameriére![21]

Матвей Ильич, сидевший в задумчивости, вдруг ударил себя по лбу ладонью и воскликнул:

– Ба! Знаю!

И встал из-за стола.

– Что вы? – воззрился на него Иван Терентьевич.

– То, что, когда я знал эту женщину, мне было двадцать восемь лет, меня еще звали Mathieu le beau, и была у меня, действительно, чудеснейшая шевелюра.

И, быстрыми шагами направившись к темно-зеленой красавице, – она ждала его знакомыми глазами, – Матвей Ильич заговорил, с глубоким, вежливейшим поклоном и *по-русски.*

– Вот святая правда, что только гора с горою не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся. Я уверен, что не ошибаюсь: это вы, Марья Ивановна. А я Вельский. Матвей Ильич Вельский. Мы с вами встречались когда-то в К. Впрочем, вижу, что вы меня тоже узнали.

Дама взглянула весело, – как на радостную неожиданность, – хотя не без смущения и даже легкого испуга, – облилась под белилами огненным румянцем, в котором исчезла искусственная «краска ланит», с гордым удовольствием обвела прекрасными темными очами завидующих подруг своих и отвечала, медленно, обдумывая фразу и с трудом приискивая русские слова.

– Да, вы есть чиновник от губернатор, который я знакомила в К.

Произношение было престранное. Никто из чужеземцев, выучившихся русскому языку, не говорит без какого-нибудь акцента, – в говоре дамы акцента не было, но не было и русского тона: слова звучали пусто и бело, без окраски, как чужие, будто механические. Чувствовалось, что дама не только не привыкла или, наоборот, отвыкла говорить по-русски, но и думает уже на другом языке. Голос у нее был сломанный, как у большинства проституток после нескольких лет «работы», огрубелый, с низкими мужскими тонами, но когда-то, должно быть, очень красивый.

– Но где же вы потерял… ваша черная… кудря?

И теперь еще, из-под матовых хрипов, которыми быстро награждают нежную женскую гортань табак и спиртные напитки, прорывались ноты мягкого, грудного тембра.

Женщина была еще очень хороша собою. Сейчас, под шляпою, в роскошном туалете, ей можно было дать – с услужливою помощью косметиков, – лет 26, много 28. Но человеку, опытному в темном мирке, к которому она принадлежала, сразу бросались в глаза профессиональные признаки, говорившие, что женщина – проститутка уже из давних, и ближе к концу своему, чем к началу, и возраст ее – порядочно-таки за тридцать лет. Черты лица, в юности, вероятно, тонкие, точеные, были испорчены алкоголическим жиром, огрубившим все линии и связавшим их в недвижимую окаменелость толстой маски, с казенною улыбкою на вызывающих, «нацелованных» губах. Особенно предательски выдавал женщину именно рот – мясистый и животный овал, переходящий в четырехугольник, какая-то квадратура круга, кровавым пятном обозначенная на белой плоскости накрашенного лица и сводящая к себе все его значение, определяющая всю жизнь этой физиономии, всю цель ее, весь смысл. С

любишь кататься, люби и саночки возить) *(фр., лат).*

[21] Официант! Горничная! *(фр.).*

подобным ртом женщина – вывеска публичного дома или тюрьмы, тротуара или воровского притона. Он говорит об одичании вырождающейся плоти, униженной до скотского состояния живой вещи, обращенной в ходячий половой аппарат, заглушивший своею массою все инстинкты и потребности, кроме физиологических первобытностей, подавленной, в тутой работе воспринимаемых впечатлений, тупым безразличием к добру и злу, дико самодовольной, когда женщина сыта, пьяна, в тепле, хорошо одета и удовлетворена своим любовником, и дико бешеной, когда какого-либо из немудрых благ этих ей недостает. На лице проститутки такой рот не пугает и не пророчит ни особого разврата, ни дурного нрава, ни непременной преступности. Это, как и выпуклость колючих глаз, просто профессиональное развитие преимущественно работающего лицевого органа. Оно в порядке вещей и большинству мужчин, ищущих в продажной женщине самообманов и обещаний грубой чувственности, даже нравится. Не даром же сами проститутки, раскрашивая губы, никогда не уменьшают, но еще расширяют их полосу красными мазками. Но, как скоро это выразительное пятно отмечает каиновым клеймом черты благополучной дамы в добродетельном светском салоне или в буржуазной гостиной, оно – верное ручательство за то, что пред вами либо тайная Мессалина; а, если не Мессалина, то – лишь по случаю и до случая, либо самоотверженная героиня, задавившая в себе Мессалину могучим напряжением воли и живущая в постоянном и чутком борении с самой собою. Встречая грозный рот проститутки в так называемом порядочном обществе, невольно хочется справиться у сведущих людей: а не было ли в семье дамы – его обладательницы – какой-либо жуткой и низкой любовной истории? Не отравила ли она мужа или любовника? Не стрелял ли в нее муж, брат мужа, гимназист или собственный лакей? Не совершено ли ею, около нее, с ее участием или ради нее крупной кражи, растраты, подлога, казенного хищения? Не пахнет ли вокруг нее кровью, пролитою с корыстною целью? Не осталось ли за нею в прошлом детоубийства или хоть жестокого обращения с ребенком? На кого похожи ее дети? Не кокотка ли была ее мамаша, и не ранняя ли распутница ее пятнадцатилетняя дочь?

– Кудри мои, увы, остались в Маньчжурии – жертвою богу тифа. Но – какими же судьбами вы здесь, Марья Ивановна? Вас ли я вижу?.. Вы позвольте мне присесть? Если, конечно, ваши соседки не имеют ничего против… Или, быть может, вы сделаете мне честь – переедем и займем место у нашего стола? Мой товарищ, Иван Терентьевич Тесемкин, очень милый человек. Он из московского купечества, но чрезвычайно образованный господин, приват-доцент, занимается естественными науками… Мы оба будем в восторге.

– Auguri agl'innamorati![22] – воскликнула желтоперая подруга, с тою дружелюбною насмешкою и благожелательною завистью, которыми в Италии встречаются решительно каждое знакомство и каждая беседа мужчины и женщины, если есть хоть какая-нибудь возможность подозревать в том любовную подкладку или ждать из того любовных последствий. Ciao, Rina! Io ti lascio al tuo amore dyamico. Se tu non lo mangi intiero, avanza mi un pezzettino pedomani[23].

– Gia tardi. Buona notte, Rina! – вздохнула и, вслед за желтоперою, поднялась с места обладательница прямоугольного носа между двух вороньих глаз. Che miseria di lavoro stasera! Non c'e nulla di profitto[24].

– Te ne vai a ca'?

– No, ci proviamo fortuna ancora da Carini…[25]

---

[22] Поздравления возлюбленным! *(ит.)*.

[23] Прощай, Рина! Оставляю тебя твоему душке-любовнику. Если ты не съешь его целиком, оставь мне кусочек назавтра *(ит.)*.

[24] Уже поздно. Доброй ночи, Рина!.. Плохая работа сегодня. Ничего не заработала *(ит.)*.

[25] Ты домой? – Нет, попробуем еще счастья у Карини… *(ит.)*.

– Какими судьбами вы здесь? – повторил Матвей Ильич, опускаясь на одно из освободившихся мест.

Женщина, все еще красная, смотрела на него с тою типическою робостью, которая всегда сказывается в манерах и поведении даже самых давних и опустившихся проституток, когда они встречают людей, знакомых им раньше, чем они запутались в сетях своей безвыходной профессии, в иных обстоятельствах и другой обстановке.

– Н-ню, – сказала она, опуская глаза, – я не понимаю, как меня перед вами держат… Такое неловко…

И вдруг захохотала:

– А хорошо я вас надула тогда? О, какой вы все были смешной… Ах, я был молодой, резва и весела… Давно вы в Милане? И надолго?

– Да думал уехать с утренним поездом, а теперь…

– О, так скоро? Я вам не позволяет…

Она сделала глазки и положила руку свою на его руку.

– Пригласите же ваша приятель… Он скучает один. Вы говорите по-итальянски?

– Ни звука.

– Тогда будем, пожалуйста, говорить по-французски. Я хотела бы многое рассказать вам и спросить ваш совет, но совсем забыла по-русски.

– Как вам угодно, Марья Ивановна.

– И не надо – Марья Ивановна. Марья Ивановна давно нет на свете. Есть mademoiselle Fiorina – Фьора, Фиорина, Рина, как вам больше нравится… А, значит, я еще не слишком подурнела, если вы так легко и скоро меня узнали? Ах, как я вас тогда одурачила! вот обвела!.. Я уверена, что, если бы вы могли меня потом поймать, то посадили бы в самую страшную тюрьму…

Она хохотала.

– Уж и в тюрьму, – улыбнулся Матвей Ильич. – Вас-то нет, но кое-кому, пожалуй, пришлось бы не миновать этой квартиры… Иван Терентьевич, – обратился он к подошедшему приятелю и знакомя его с дамою, – а что если мы, в самом деле, отложим на денек наш поход на Монте-Карло? Я того мнения, что проиграться мы всегда успеем. Между тем – вот, оказывается, встретил я компатриотку и старую знакомую, которая к тому же замечательнейший и весьма хитрый человек.

Фиорина засмеялась, хлопнула в ладони и сощурилась с самодовольным видом: нам, мол, пальца в рот не клади.

– А по мне, ничего лучшего и не надо, – согласился Тесемкин. – Мне в вашем Милане нравится. Готов просидеть в нем день, два, даже неделю. Особенно, если mademoiselle Фиорина будет так любезна и поможет мне найти компанию – представит меня вон той золотоволосой особе…

– А? вам нравится Olga la Blonda?![26]

– Да – нравится не нравится, но я как-то всегда замечал, что компания куда стройнее слагается из пар, чем из единиц. Мужчины и женщины обязательно должны быть в четном числе. Иначе кому-нибудь одиноко и скучно.

– Я охотно вас познакомлю. Только предупреждаю вас. Она не говорит по-французски. Едва несколько слов.

– Это ничего. Ведь я с нею не о дифференциалах буду разговаривать. А глаза, жесты, поцелуй и постель – международны…

– Ваш приятель, однако, большой шут! – целомудренно отвернулась mademoiselle Фиорина.

---

[26] Ольга Блондинка *(фр.)*.

– Послушайте, – говорила она Матвею Ильичу, покуда Тесемкин какою-то не то пантомимою, не то балетом изображал перед рыжеволосою девицею влюбленный восторг и счастье быть с нею знакомым и сидеть рядом за одним столом. – Послушайте, кафе сейчас закроют. Здесь торгуют только до четырех. А мне надо так много сказать вам…

– Да и мне хотелось бы много выслушать от вас. Где мы можем продолжить наше свидание?

Она пожала плечами и недовольно протянула:

– Из ночных кафе только это прилично… к Карини я не хожу. Там смешанное общество… не безопасно…

– Тогда мы могли бы взять комнату в каком-либо отеле?

– Что вы! как можно! Вы, кажется, думаете, что вы еще в России? Здесь не русские нравы. Никто не пустит в гостиницу ночью две пары, как мы. За это большой штраф. Поплатился бы и хозяин, и мы обе с Ольгою, бедняжки… Нет, уж если вы непременно желаете, то остается одно – пойти ко мне.

– Но – с наслаждением! – воскликнул Матвей Ильич. – Я лишь не смел просить вас сам…

– А вы оставьте церемонии и будьте смелее. Видите: мы с вами не в К., где я должна была разыгрывать светскую барышню и неприступность! Увы! с тех пор переменилось и время, и место…

Она вздохнула.

– Живу я, предупреждаю вас, в порядочной трущобе, но не смущайтесь кварталом. Квартира у меня приличная и соседи неопасные, так что за кошелек свой и часы можете быть спокойны…

– Помилуйте… я и не думал.

– Напрасно не думали. Следует думать. В других местах, если будете с женщинами, мой совет вам – непременно, пожалуйста, думайте. Но вы мой знакомый, а знакомого моего никогда никто не тронет в нашем квартале. Предупреждаю вас, однако, – мне очень совестно, но… вы понимаете, – этот визит ко мне… – она заторопилась, – вы понимаете… я не имею права иначе… словом, это обойдется вам двести лир… ну, по знакомству, полтораста, ну, даже сто… хотя Фузинати будет меня ругать.

– Помилуйте… – говорил озадаченный русский, – я… правда, не имел никаких намерений… но, если вам угодно иметь эту сумму, могу… с удовольствием.

Она поникла головой.

– Что там угодно? Только с вами, русскими, столько церемоний, приходится стесняться – по старой памяти… А для остальных – просто – цена это моя, prezzo fisso[27], мой заработок. Иначе я не могу. Надо жить.

– А кто такой этот господин, которого вы помянули?

– Фузинати?

– Ваш дружок, вероятно?

– Нет. У меня дружка, слава Богу, нету. Был да сплыл. Сидит в Монтелупо и кается в прегрешениях, которые он против меня совершил. Фузинати – мой ростовщик. Я у него на откупу. То есть, не я сама, потому что – он ханжа и считает величайшим грехом хотя бы прикоснуться к женщине – тем более к такой, как я. Но – все, что вы на мне видите, принадлежит ему, а – также – и львиная доля из моего заработка. Я, Ольга, две, которые ушли, вон та – в гранатовом манто, эта – в стеклярусе, – все мы рабыни Фузинати, и он контролирует нас, как евнух. Будете иметь удовольствие увидать эту прелесть. Уже, наверное, сторожит у входа, под аркою галереи.

[27] Моя цена *(ит.)*.

III

Вышли вчетвером. Матвей Ильич вел под руку красивую Фиорину, Иван Терентьевич – Ольгу Блондинку. Покуда они шли ярко освещенною галереей, им трижды попадались навстречу весьма подозрительные, корявые франты в котелках и с жесточайше-черными усами. Матвею Ильичу показалось, что они обмениваются со спутницею его знакомыми взглядами, а его самого осматривают, точно взвешивая на фунты. Нельзя сказать, чтобы это понравилось русскому. Он уже раскаивался, что так легкомысленно позволил себе пойти за Фиориной.

– Черт ее знает! Город незнакомый, сама говорит, что живет в трущобе, револьвера у меня нет… И почему я ей доверился? Помню – не то как сумасшедшую, не то как авантюристку – может быть, просто мошенницу и, во всяком случае, соучастницу в какой-то грязной плутне с живым товаром…

Фиорина заметила смущение Вельского, поняла и успокоила:

– Не беспокойтесь. Это люди Фузинати. Я же говорила вам, что у меня есть импресарио, и я работаю – вся на отчете. Самого Фузинати мы встретим где-нибудь здесь же, где потемнее, – он у нас не охотник до света; а эти собачки обязаны бегать по портикам вокруг кафе и следить, чтобы ни одна из нас не ускользнула с кавалером без его ведома, – поработать малую толику не на Фузинати, а на самое себя… Целую бригаду содержит: десяток таких молодцов. Каждый обходится ему пять франков за вечер. Три – на галерею и портики. Остальные – на город. Вот в Италии нет для нас специальной полиции, так мы сами свою собственную завели. Она тяжело вздохнула и продолжала:

– Видите, – вы и не заметили, а между нами произошел, без единого слова, целый разговор. Вы чувствовали, что я крепче опиралась на вашу руку и ближе к вам прижалась? Это значит: «Он, то есть вы, меня не просто провожает, а я поймала гостя». Иначе я, наоборот, отшатнулась бы от вас и смотрела бы по сторонам. Ольга тогда же громко сказала: «Как поздно!» – значит, что мы ведем вас к себе на квартиру, а не в другое место. Если бы мы шли в кафе, Ольга или я воскликнула бы: «А ведь еще рано!» Если бы к вам на квартиру: «Не взять ли карету?» И так далее… Можете быть уверены, что сейчас Фузинати уже оповещен которым-нибудь из них о вашей особе в совершенной точности, что вы иностранец, что я вас давно знаю и за вас ручаюсь, что вы рассчитываете провести в Милане несколько дней и я надеюсь иметь в вас постоянного гостя, и, наконец, главное, что вы заплатите мне… Кстати, если бы он вздумал спрашивать вас, сколько вы мне заплатите, пожалуйста, скажите, что не сто, как мы уговорились, а только пятьдесят франков. Можно, миленький? Правда? Знаете, ведь я ему обязана отдать сорок… мизерия! поневоле, утягиваешь, что можешь, когда счастье повезет, как сегодня. Надо же жить! Из пятой доли, при нынешних ценах, не очень-то разойдешься. Что вы так недоверчиво смотрите на меня?

– Я сделаю и скажу все, что вам угодно, но я не понимаю, как вы могли сообщить такие сложные сведения без каких-либо особых знаков.

– Напротив, я сделала множество знаков, только вы их не поняли, потому что приняли за обычные естественные движения. Я успела поправить вуаль на шляпе – знак старого знакомства, на руке, за которую вы меня ведете, я загнула четыре пальца, а указательный оставила, это, значит, одна моя единица, – пятьдесят, дешевле чего Фузинати не позволяет мне водить к себе гостей. Я могу возвратиться домой одна, – тогда это стоит только ругательств и попреков, что я лентяйка, гордячка, старуха, обезьяна, которая не нравится мужчинам и не годна в работу. Но, если я приведу мужчину, то, прежде всего, должна уплатить Фузинати с пятидесяти франков – сорок, со ста – восемьдесят. Иначе он не впустит меня в квартиру. Вот что значит мой один палец. Теперь он уже знает, сколько вы стоите и чего он вправе от меня

ждать. Два значило бы сто, три – полтораста и так далее. Я похлопала вас по рукаву: значит, видимся не в последний раз, он остается в Милане… Это я, чтобы он не хныкал за пятьдесят франков, – может быть, вы, в самом деле, накинете ему какую-нибудь безделицу? А?

– В кафе вы, Фиорина, как будто упоминали о других цифрах вашего… заработка?

– Ах, кто же из нас не врет и не преувеличивает? Запрашивать – пытать счастья. Мы в Италии. Вдруг клюнет? С англичанами бывает. Меня к одному свиноводу американскому, из Чикаго, Фузинати возил – за дукессу Бентивольо я пошла тогда – всего полчаса и пробыла у него, и он мне тысячу лир на булавки подарил, а уж что с него Фузинати снял, – воображаю. А с вас и Бог велел взять больше по старому знакомству. Вы компатриот. Э! У вас денег много! Я понимаю людей, вижу насквозь!.. Не беда, если поделитесь с бедною девкою, которую вы застаете, откровенно сказать вам, далеко не на розах – не очень-то радостные идут сейчас для меня дни.

– Да я и не имею ничего против. Ну, а как же ваша подруга? Она вас не выдаст вашему антрепренеру?

– Ольга? Да она не помнит себя от счастья. Сто лир девице, которая считает благополучием идти за двадцать! Если ей удастся хоть половину припрятать от Фузинати и от своего любовника Чичиллу, она будет воображать себя барыней. Италия бедная страна, г. Вельский. Женщина здесь дешево стоит, мужчины не могут тратить на нас столько, как в Париже, Вене либо у вас в Петербурге. Перед тем как вы впервые со мною познакомились, когда я жила в Петербурге у генеральши Рюлиной либо у старой ведьмы Буластовой, пятьдесят франков годились мне разве лишь – чтобы папиросу закурить. Здесь это идеал. Это, значит, поймала иностранца. Итальянцы не умеют тратиться на женщин, если они – не из общества…

Фиорина засмеялась.

– Есть тут у нас одна – Джузеппина. Молоденькая, всего второй год в работе. Из Бардонекьи, – это там, в Альпах, уже у самого Монсенисского туннеля. Только что еще свеженькая, а некрасивая, незанимательная, – товар третий сорт. Крестьянка неграмотная. Работает на приданое. Потому что, понимаете, обручена она с унтер-офицером, а им не дозволяется жениться, если у невесты нет 5000 франков наличными. Идет, за сколько попало. Двадцать франков – восторг и упоение! Десять – и то хорошо. Пять – с гримасою, но тоже можно. И вот – приходит ко мне недавно, вся растрепанная, неприбранная, и ревет благим матом.

– Что ты, Пина?

– Помогите мне, синьора, дайте десять лир взаймы. Беда! опростоволосилась я, дура! не знаю, что и делать теперь… Франи, – это ее ganzo[28], – меня изувечит… Он такой бешеный, чертов сын, Франи. Разве я виновата? Меня гость обманул!

– Не заплатил, что ли?

– Хуже, синьорина… Я ему доверилась… был такой приличный господин, золотые часы, золотое пенсне… Притом очень вежливый и добрый… Все расспрашивал о работе, о женихе, о приданом – пожелал мне, чтобы я поскорее собрала свои пять тысяч франков… ушел… Мне было совестно – при таком любезном господине – проверить, сколько он там, положил на камин… Я доверилась… Господи Боже мой! Думаю – Мадонна пресвятая! Святой Амвросий Медиоланский! Не станет же такой приличный и хороший господин надувать бедную девку из-за каких-нибудь десяти лир. Проводила. Бегу к камину, – ах, мерзавец! так и обмерла… Вы посмотрите. Рина, – нет, вы только посмотрите, что мне этот подлец, вместо десяти, оставил… тряпку! Ярлык паршивый! Франи пересчитает мне все ребра…

Гляжу, и, знаете, чуть не расхохоталась.

[28] Любовник *(ит.)*.

– Ах ты, дура! – говорю, – счастье твое, что ты на честную женщину напала… Невежда ты деревенская! У тебя какой-нибудь герцог владетельный был или миллионер, ищущий приключений. Ишь – расчувствовалась! Это – пятьсот франков!

– Что-о-о?

Как прыгнет она ко мне, словно кошка, – бумажку вырвала, сама белая, вся трясется.

– Ну да, – говорю, – пятьсот лир итальянского банка.

– Не может быть, синьора Рина! Вы ошибаетесь! Врете! Смеетесь надо мною! Быть не может!

– Ну вот, я ошибусь, – подумаешь, никогда билета в 500 лир не видала! Это ты не ошибись, заучи наперед, какие они бывают. А то в другой раз кто-нибудь, в самом деле, пятьсот лир посулит, а вместо ярлык с бутылки сунет, – ты, дура безграмотная, и возьмешь…

– Ох, возьму, ша[29] Рина, ох, возьму!.. Да послушайте: вы не шутите? Грешно вам, если смеетесь над бедною девкою…

– Если хочешь, пойдем вместе к меняле, – увидишь!

– Да – кто же мне даст 500 франков? за что? Ведь пятьсот франков per un colpo[30] даже и вам не платят…

– Значит, послала тебе фортуна благодетельного чудака. Есть такая пословица, что дуракам счастье… Пользуйся!

Отсюда, многоуважаемый г. Вельский, вы можете заключить, каковы здесь наши заработки. Женщина работает в Милане три года и, хотя из маленьких, но все же не тротуарщица какая-нибудь, а между тем все не то что не получала, – это-то, конечно, где уж! – чудом из чудес случилось! – но даже не видывала, какие бывают пятьсот франков… Страшная конкуренция. Женщин много, мужчин мало. Иностранцы перестали ездить в Италию, чтобы развлекаться. Французы сидят в Монте-Карло. Англичан почти не видно, немцы скупы, ездят в обрез, а русские обеднели. Ни бояр, ни богатых коммерсантов. Ведь у вас там всегда одно из двух: либо революция, либо холера. Сюда выезжают теперь такие странные русские, что прежде и не видано. Не говорю уж об aspiranti dell'arte[31]. Это все – наши соседи, по тем же дырам и захолустьям ютятся, где и наша сестра, также голодают, перебиваются на хлебцах в два сольдо и вине из фонтана. Но вдруг нагрянут какие-то научные экскурсии, что ли, – бродят толпами, на Корсо только и речи слышишь, что русскую, и у всех такой голодный вид, что так вот и хочется, от жалости, часы с себя снять и им отдать…

– А политических эмигрантов встречаете?

Фиорина примолкла. Потом нехотя сказала:

– Этим я даже не признаюсь, что я русская.

– Не любите их?

– Напротив. Я республиканка.

– Ого!

– Чему же вы удивляетесь? Между нами много республиканок. Либо анархистка, либо республиканка, либо католическая ханжа, папистка. Все – крайние. Середины никогда нет.

– В таком случае вам должны были бы приятны быть встречи с эмигрантами, – они ваши единомышленники, – зачем же вы от них бегаете?

– Стыдно… На мне одна юбка, хоть и чужая, прокатная, триста лир стоит. Я в шелковом белье хожу. А вы посмотрели бы, как они живут, что едят, где спят… Вы можете вообразить себе жизнь на двадцать франков в месяц? В большом-то городе? почти столице?

---

[29] В пьемонтском и лигурийском диалектах «синьор» сокращается в «шу», «синьора» – в «ша»: Sciu Gui do, scia Paola etc.

[30] Торговля в розницу *(ит.)*.

[31] Кандидат в сочинители *(ит.)*.

– Вы шутите, Рина!

– А вот – останьтесь в Милане подольше: я вам покажу… сколько хотите! И не думайте, чтобы все лишь мелюзга какая-нибудь, незаметность, бездарность, пушечное мясо, как говорится. Нет, есть тут один… был у вас там на родине большой человек, деятель, из вождей, его имя по всей Европе в газетах прошло… А здесь прозябает без языка и без работы. Здоровьишко сквернейшее. Жена, ребенок. Чем живут, – и сами не знают. Падают откуда-то какие-то 50 франков в месяц. Как хочешь, так и обернись. Накорми, одень, обуй, под крышею надо жить. Зимы здесь суровые. Чувствуете, какой туман. Пронизывает до костей. Ночи длинные. Ведь вот скоро пять, а до рассвета еще долго, долго… Вы сытый, богатый, не можете даже вообразить себе, что значит холодному и голодному человеку ждать солнца в такую ночь. Для вас-то солнце – только наслаждение, а для бедняка оно и печь, и лампа. Да! Как же мне в горностаевой накидке такому бедняку признаться? Я стараюсь находить ему время от времени кое-какую работишку через моих знакомых мужчин, но – показать ему, что я русская? Да я умру со стыда! Ни за что на свете!

Они свернули с Corso[32] в переулок – San Pietro al Orto[33]. На углу от дома – едва они минули – отделилась, словно скульптурное украшение вдруг отлипло от стены, – маленькая кривая фигурка пожилого мужчины, скрюченная, в пелерине, какую обычно носят, в холодную пору года, мещане северных итальянских городов.

– Однако за нами как будто кто-то следит? – заметил Вельский Фиорине.

Она быстро обернулась и закричала резко и сердито на миланском наречии:

– Фузинати! Опять комедии? Что вы ползете сзади, как убийца? Неужели вы воображаете, будто мы вас не видали, старый бездельник?

Кривой человек подкатился, как мячик, и униженно закланялся под фонарями, держа на отлет круглую шляпу.

– Я ждал лишь, чтобы спросить вас, синьорина, в котором часу вы разрешите завтра…

– Оставьте кривляться, вечный комедиант. Синьор форестьер – мой старый друг, и мне нет никакой надобности скрывать от него, что вы за птица. Говорите по-французски! Я совсем не хочу, чтобы он подумал, что мы сговариваемся его убить или обобрать…

Фузинати еще раз смиренно поклонился Матвею Ильичу и произнес на очень хорошем французском языке, почти совершенно без звенящего и жужжащего итальянского акцента:

– Мосье, очень рад счастью вашего знакомства. Мадемуазель Фиорина несколько строга ко мне, но я прошу вас не выводить из ее слов дурных для меня заключений. Что делать? Мы все знали лучшие дни и не хотим принять уроков от судьбы – смириться соответственно нашему новому положению, которое требует, чтобы мы были скромнее, да, скромнее…

– Особенно ваше положение, Фузинати, – проворчала почти с угрозою Фиорина, – который дом воздвигаете вы теперь на пустырях за Porta Venezia?[34] Мы пришли. Давайте ключ, старый Риголетто!

– Мадемуазель Фиорина, – кротко, но, в свою очередь, с насмешкою возразил Фузинати, буравя огромным и толстым, как коротенький лом, ключом, – показалось Вельскому, – прямо-таки стену в громадном черном доме, чрезвычайно старинном, если судить по силуэтам нависшего над окнами скульптурного орнамента и по фигурности решеток, гнутыми выступами облегавших самые окна. – Мадемуазель Фиорина! Вы же так не любите, когда я – по вашему мнению – говорю лишние слова, хотя, по-моему, я стараюсь быть только вежлив… да-да, любезен и вежлив…

---

[32] Улица *(ит.)*.

[33] Сан-Пьетро на Востоке *(ит.)*.

[34] Ворота Венеции? *(ит.)*.

– А, черт ли мне в вашей вежливости? Лучше говорите мне «ты» и зовите меня девкой, да не дерите с меня четыре пятых заработка.

– Я позволю себе возвратить вам ваш обычный упрек, – продолжал Фузинати, словно и не слыхал возражения, – зачем же вы спрашиваете у меня ваш ключ здесь на улице, когда очень хорошо знаете, вот уже пятый год, что он, по обыкновению, ждет вас, вися у камина под номером девятым?.. Проклятая дверь! Ага! Сколько лет мучит она меня – и каждый день забываю послать за слесарем. Наконец-то! Прошу вас, messieurs-dames[35], сделайте одолжение, войдите… Мадемуазель Фиорина, мадемуазель Ольга…

– Черт знает, – проворчал Иван Терентьевич, шагая через порог открывшейся в стене железной двери, – оперная декорация какая-то.

В слабом мерцании ночника, в нише пред терракотовою раскрашенною мадонною, открылось, в самом деле, нечто красивое, смутное и, в полутьме, как бы зловещее: колоннада старого-престарого дворца, – когда-то, должно быть, весьма великолепные и величественные сени, открытые громадною круглою аркою в обставленный колоннами, обведенный портиком cortile[36].

– Это было когда-то дворцом, господа, – говорил Фузинати, учтиво пропуская Вельского и Тесемкина с дамами из сеней в маленькую стеклянную дверь нижнего этажа направо.

Вошли в крохотную каморку – будто фонарь – во времена оны, несомненно, дворницкую или привратническую. Комнатка была заставлена разнокалиберною мебелью, завалена сборною старою домашнею утварью и завешана всякою пестрою, ветхою рухлядью, так что походила не то на берлогу мелкого ростовщика, не то на лавку старьевщика. Прежде всего бросалось в глаза огромное кресло, обшитое когда-то дорогою, штофною материей, – вещь не моложе XVII века. На нем лежало пестрым комком нечто, по первому взгляду, Вельским принятое за одеяло, но – заслышав людей – оно зашевелилось и оказалось маленькою девочкою, лет десяти, худою, истощенною и злого, дерзкого вида. На желтом личике, под мохнатою шапкою спутанных волос, надменно сверкали большие черные глаза, обведенные широкими темными кругами.

– Э, Аличе! – кивнула ей Фиорина, – ты еще не спишь?

– Я уже не сплю, – недружелюбно оскалилась девочка, показывая большие не по возрасту, звериные зубы. Голос ее был хриплый, звериный. Говорила она на грубом, лающем наречии пьемонтских горцев.

Ольга сказала:

– Эта обезьянка всегда ждет вашего возвращения, Фузинати, – вы, должно быть, приносите ей хорошие конфекты.

– Дождешься от него! – захохотала девочка, садясь на ручку кресла и болтая в воздухе босыми ножками, бледными в смуглоте своей, как лилии, и тощими, как палки. – Не желаю вам, синьорина Ольга, конфект, которыми он меня кормит… Ха-ха-ха!.. Ну-ну! нечего делать мне страшные рожи, старый орангутанг! Не очень-то здесь тебя боятся…

Фузинати, оказавшийся при свете весьма скромным на вид, должно быть, болезненным, желтолицым стариком лет под шестьдесят, но с черными еще усами, и почти черными волосами на голове, и с яркою синевою чисто выбритых, впалых щек, делал вид, будто не слышит, что о нем говорят, и объяснял Вельскому:

– Да, это было дворцом. Дом устарел и запущен, но это исторический дом, мосье. В шестнадцатом веке воздвигнуты эти колонны, государи мои. Еще сто лет тому назад здесь обитали, когда наезжали в Милан из своих вотчин под Мадридом, герцоги Медина Сели, могущественнейшие из вельмож испанского двора…

---

[35] Господа-дамы *(фр.)*.

[36] Внутренний дворик *(ит.)*.

– А теперь, – с сердитым смехом перебила Фиорина, – все шесть этажей этого дурацкого, вонючего сундука битком набиты девками, две из которых почтительнейше ожидают, когда вы соблаговолите выдать им их ключи.

– Вы всегда спешите, мадемуазель Фиорина! – уж с сердцем огрызнулся Фузинати. – Вы ведете себя сегодня так, словно мы с вами первый день знакомы. Вы же знаете, что я не могу дать вам ключа прежде, чем не получил с вас моей доли за прокат вашего туалета.

Фиорина покраснела.

– Мосье Бельский, – обратилась она к кавалеру по-русски, – я весьма совестный…

– Вероятно, старик желает получить вперед? – оборвал Тесемкин. – Это возможно. Voila, старинушка, или по вашему будет – ессо![37] Один, два, три, четыре, пять – получайте с обоих, за меня и за приятеля, – пять золотых… великолепнейших, круглых, новых, французских, петухом украшенных золотых.

– Один наш! – быстро воскликнула Фиорина, – накрывая монету рукою и кивая Ольге, которая тоже ответила ей флегматическим кивком.

Фузинати покосился на них весьма недружелюбным взглядом, но ничего не сказал и со вздохом повернулся к вешалке ключей у своего камина:

– Номер девятый, мадемуазель Фиорина, номер тридцать первый, мадемуазель Ольга… Две женщины и только пять золотых. Ужасные времена, мужчины в Милане потеряли последнюю тень щедрости… Мосье! – обратился он к Вельскому. – Я прошу вас быть великодушным и прибавить мне какую-нибудь маленькую, самую крохотную безделицу. Ведь деньги, которые платят мне эти дамы, – я ничего тут не зарабатываю! Клянусь св. Амвросием, ничего! – это лишь маленькое погашение их долга по нашим взаимным дружеским обязательствам.

– Уж истинно дружеским! – проворчала Фиорина, – вы, смотрите, без шуток! не забудьте отметить эти сорок франков в вашей толстой книге, – вы, старый Гарпагон!

– Кажется, я никогда не бывал недобросовестным кредитором ни в отношении вас, мадемуазель Фиорина, ни вас, мадемуазель Ольга, ни кого-либо из дам, квартирующих в арендуемом мною дворце…

– Слышать я не могу, когда вы называете дворцом эту вашу глупую развалину, подлую вонючую лачугу! Господи! Вот сегодня несет со двора! Можно подумать, что околели все кошки в Милане.

– Да, воздух довольно ужасный, – согласился Вельский. – Не слишком то вы, г. Фузинати, заботитесь о своем дворце.

– Что делать, сударь? Я человек бедный. Плачу высокую аренду, а имущество совершенно бездоходно. Мадемуазель Фиорина улыбается. У нее веселый нрав. Я не пользуюсь расположением мадемуазель Фиорины. Но я готов поклясться гробницею св. Амвросия, что квартирный доход не покрывает аренды и, если бы я не занимался маленькими комиссиями по торговле мод и готового платья, то давно был бы банкрот, несчастный, жалкий, разоренный нищий. Как же я могу поддерживать чистоту дворца? Вы видите: у меня нет средств даже нанять привратника, и я сам должен исполнять его обязанности, и не спать по ночам, ютясь, как собака, в этой конуре, потому что квартирантки мои возвращаются поздно… Я уверен, мосье, что вы поймете меня, войдете в мое положение и, пожалев бедного больного старика, прибавите безделицу…

Матвей Ильич дал ему еще золотой. Фузинати схватил монету тощею, скелетною лапою, синею, со вздутыми жилами, под густыми волосами, почти шерстью, и, спрятав монету в жилетный карман, подал ключи Фиорине и Ольге.

---

[37] Так-то так, не угодно ли! *(ит.)*.

– Очень вам благодарен, мосье… Мадемуазель Фиорина, если вам понадобится вино или бисквиты, вам стоит только крикнуть из вашего окна. Старик Фузинати не ложится в постель всю ночь и всегда весь к вашим услугам…

– А, в самом деле, недурно бы… – начал было Матвей Ильич, но Фиорина быстро дернула его за рукав.

– Идем! Поздно! Какое там вино!

– Вы для меня дорогой гость, – говорила она, – проводя его через cortile, действительно, напоминавший скорее мусорную яму, чем атриум палаццо, – мне и то уже совестно, что вам пришлось заплатить несколько денег за знакомство со мною… Сохрани Бог, чтобы я еще заставила вас платить, по пяти франков бутылка, за кислое монферрато из погребов Фузинати. Черт его, знает, чего он туда мешает…

IV

Поднимались высоко, по лестнице, обвивающей cortile, как во всех дворцах итальянского Возрождения, под портиком, четырехколенным ходом.

– Господи! – вздыхал Иван Терентьевич. – Куда только мы идем? а? Матвей Ильич! Неужели еще выше? Ну так и есть! Я вас спрашиваю, куда мы ползем?

– Не знаю, – смеялся тот, – но, по счету ступенек, мы уже в небе и недалеко от рая.

– Сразу видно, что вы русские, – говорила Фиорина. – Из всех иностранцев русские самые ленивые. Им всегда все лестницы кажутся высоки. Между тем мы прошли только два этажа, а нам надо подняться на пятый.

Иван Терентьевич даже взвыл.

– Мадемуазель Фиорина! У меня сердце лопнет. Вы бы хоть предупредили меня раньше. Я бы прямо на пороге лег и умер во славу вашу. Ведь это же для нашего брата, толстяка, каторжные работы.

Вельский утешал его:

– Ну что вы расплакались? Поднимались же вы вчера в Венеции на собор, к коням св. Марка, – любоваться венецианскими трубами.

– Потому-то сейчас и трудно. Колени отломились. Болят мои скоры ноженьки со походушки. И – хорошо вам разговаривать, когда ваша легкокрылая дама летит вверх по уступам, подобно лани или серне быстроногой, и вас же еще влечет за собою на буксире. А моя душка, прах ее побери, повисла на локте шестипудовым мешком и столь на мою силу полагается, что даже уж и ногами двигать труда себе не дает. Лестно, но тяжеловесно. Вы, впрочем, мадемуазель Фиорина, всего этого ей не переводите. Желаю быть не ненавидимым, но любимым.

– Не переведу, – смеясь, обещала Фиорина, но прикрикнула-таки на Ольгу:

– Не спи раньше постели! шевелись ты! альпийская корова!

Ольга лениво покосилась через толстую щеку, пошевелила толстыми губами и ничего не сказала. Она, в самом деле, покорялась старшей и шикарной подруге беспрекословно, как хороший, безвольный автомат.

Иван Терентьевич рассуждал:

– Вы говорите, мы в небе и около рая, – сомневаюсь, потому что вонь все еще чудовищная, – в раю помойных ям, это уже в десятом веке монахи доказали, – быть не может, – да и темь, как в аду…

Фиорина извинилась:

– Скряга Фузинати не держит фонарей на лестнице. Впрочем, это здесь вообще не очень-то в обычае. Предполагается, что у каждого мужчины должен быть в кармане клубок восковых свечей. Я не сообразила, что у русских это не принято. Погодите, я сейчас добуду. Мы будем проходить мимо Мафальды. Помилуй мя, Господи. Она, наверное, не спит. Я вижу огонь в щелях ставень.

– А как же вы сами-то обходитесь без фонаря?

– Да ведь, обыкновенно, поднимаешься не одна. Да и привычка. Я легка на ногу. В ночи вижу, как кошка, и одышки у меня еще нет.

– Что вам за охота жить так высоко? Дешевле что ли?

– Напротив, дороже. Четвертый и пятый этажи вдут у Фузинати по самой высокой расценке. Нет комнаты дешевле ста франков в месяц, а я за три свои, – вот вы увидите, – плачу триста семьдесят пять. Верхние этажи, кроме шестого, это наш аристократический квартал. В шестом жить нельзя: слишком низкие потолки и зимою холодно, а летом знойно от крыши. Но, вообще, наверху, знаете, воздух чище и солнца больше. Здесь без этого нельзя.

Солнце – все. Если небо ясно, то никто печей не топит. Поэтому и платим Фузинати лишнее – за экономию на угле и дровах. Вот здесь живет Мафальда. Помилуй мя, Господи…

Она постучала в решетчатую дверь.

– Помилуй мя, Господи! Кто там? – окликнул басистый женский голос.

– Рина.

– Кой черт, помилуй мя, Господи, носит тебя так поздно?

Фиорина объяснила.

– Помилуй мя, Господи! Подожди.

Загремели внутренние деревянные сплошные ставни, звякнули стекольные створы, решетчатый свет испестрил галерею. Внешние ставни Мафальда медлила отворять. Фиорина злилась.

– Долго ли будешь ты копаться, чертова котлета? Подумаешь, на костер тебя, ведьму, приглашают!

– Помилуй мя, Господи! Я слышу, ты не одна?

– Со мною Ольга Блондинка и два синьора, иностранцы.

– Помилуй мя, Господи! Ты не обманываешь меня? В самом деле, эти господа, которые с тобою, помилуй мя, Господи, не из наших, здешних, но иностранцы?

– Выгляни, так и сама увидишь. Отворяй, бефана![38]

– В таком случае, дочь моя, помилуй мя, Господи, – пройдись, пожалуйста, немного по галерее, посмотри, не прячется ли где-нибудь за колоннами, помилуй мя, Господи, этот наш адский скандалист, Ульпиан с Пятном? Он уже дважды приходил ко мне искать свою Розиту, но я узнала его подлый голос и притворилась, помилуй мя, Господи, будто я пьяна и сплю. Ты понимаешь, если ко мне ворвется этот выкидыш, которого чертова мать родила от собственного своего сына, то мне, слабой женщине, помилуй мя, Господи, ничего не останется, как, помилуй мя, Господи, взяться за нож.

– Отворяй, пожалуйста. Никого здесь нет, кроме нас, четверых, и котов, которые поют кошкам свои серенады.

Верхние ставни двери, составленной из четырех решеток, распахнулись. В световом квадрате обрисовалась черным силуэтом приземистая фигура женщины, необычайно широкоплечей и плотной, с растрепанною, косматою, будто каждый волос дыбом поднялся, курчавой головой.

– Эге, девки, – помилуй мя, Господи, – да вы с удачею! – пробасила Мафальда, оглядев мужчин, сопровождающих Фиорину и Ольгу. – Каких пушистых захватили, помилуй мя, Господи! Ну-ну! Знай нашу мышеловку! Ха-ха-ха! Помилуй мя, Господи! Ах, вы, бесовы дочери, целуй вас палач!

Голою толстою рукою, совсем серою в тусклом свете лампочки, протянула она Фиорине восковой клубок и спички.

– Помилуй мя, Господи! Вот так дельфинов словили… Ха-ха! Удивительно! Сегодня, помилуй мя, Господи, не везет никому из всей мышеловки. С кавалерами возвратились только вы да тощая Иола из третьего этажа… Ну и моя Клавдия, – помилуй мя, Господи! – тоже поймала какого-то англичанина. Увез ее на два дня в Комо…

Ольга расхохоталась.

– Ах, так Клавдии дома нет? Теперь я понимаю, почему ты боишься Ульпиана с Пятном… Значит, Розита уже у тебя? Недурно! Ах вы, подлые дряни!

Мафальда повертела пальцем пред лицом своим и равнодушно сказала:

---

[38] Бефана – нечто вроде масленичного чучела, сжигаемого на празднике Крещения 6 января (Epifania). Также злой дух, кикимора, домовой женского пола.

– Дура! помилуй мя, Господи! Эта Ольга – всесовершенная дура! И у нее, помилуй мя, Господи, всегда скверные мысли в голове.

Ольга настаивала:

– Но Розита-то все-таки у тебя?

– Куда же еще деваться бедной девочке, которой любовник, помилуй мя, Господи, хочет ни за что ни про что перерезать горло? Конечно, она у меня, помилуй мя, Господи. Она знает, что я, помилуй мя, Господи, женщина с характером, и на нож у меня найдется нож, и на револьвер, помилуй мя, Господи, – револьвер. Но даю тебе честное слово, что несчастное дитя пришло ко мне пьяное, как Млечный Путь, и сейчас же брякнулось в постель, как клопик. Помилуй мя, Господи, если это не так! Клянусь тебе могилою моей матери и, если будут спрашивать, засвидетельствуй, что она, как ввалилась ко мне, так и ткнулась, помилуй мя, Господи, в подушки и заснула, и вот спит мертвым сном, ни разу не пошевельнувшись с девяти часов вечера… Да, да, да, душки мои. Сегодня только немногим весело в мышеловке Фузинати. Повсюду – пусто. Давно – темнота и сон.

– То-то так тихо… даже удивительно! Словно монастырь…

– Святой Магдалины, помилуй мя, Господи! – захохотала Мафальда. – Вы опоздали; было много шума. Сперва скандалил Ульпиан с Розитой. Помилуй мя, Господи, с каким удовольствием послала бы я этого мерзавца на галеры! Потом пришел пьяный Пеппино Долгий Нос и бил свою неаполитанку, помилуй мя, Господи, до того, что она, бедняжка, выла, как волчица, получившая пулю в ляжку, и, наконец, прыгнула от него в окно. Счастливо скачут эти твари, помилуй мя, Господи! Как блохи… Другая не сосчитала бы костей.

– Ну из нижнего-то этажа!

– Все-таки будет метра три, если не с лишком, помилуй мя, Господи. Я прыткая, но, помилуй мя, Господи, в трезвом виде не прыгну.

Назло холоду и сырости ночи Мафальда стояла в двери полуголая, лишь до пояса закрытая решетками нижних ставень, в одной рубашке, да и та ползла с нее, обнажая тучные плечи и жирную, повислую, как коровье вымя, грудь.

– Ты простудишься, – заметила ей Ольга, – накройся.

– Вот ерунда! Сейчас февраль. Когда я была девчонкою – немножко моложе тебя – то в декабре, босая, помилуй мя, Господи, пасла коз на скалах Монте-Розы. Простуживаются только барышни, как вот эта душка Фиорина, воспитанная на взбитых сливках и французском вине. Девки иногда сдуру кашляют, помилуй мя, Господи, но вообще всегда здоровы. Это наша привилегия.

– Все-таки стыдно! – сказала Фиорина. – Женщина же ты… здесь двое мужчин.

Мафальда равнодушно свистнула.

– Велика важность! Пусть каждый из них бросит мне по два франка и – помилуй мя, Господи, – я, пожалуй, растворю ставни во все окно.

– Безобразно, Мафальда! Спиваешься ты.

– Помилуй мя, Господи! Скажи лучше, что ты ревнуешь и боишься, что я, на старости лет, отобью у тебя этих господ… Эй, молодчики! – закричала она русским, страшно и бесстыдно, ведьмовски, сотрясая свое старое жирное тело, – эй, молодчики! Бросьте вы, помилуй мя, Господи, этих жеманных девчонок, которые трусят быть девками и строят из себя барышень! Идите к старой бабе Мафальде, помилуй мя, Господи! Конечно, я не так нарядна, как эти беспутные цесарки, эти мохнатые овечки, которых – помилуй мя, Господи, щиплет, стрижет, бреет в свою пользу старый подлец Фузинати. Зато я, помилуй мя, Господи, знаю сто шестьдесят три позы для любовных живых картин. И у меня есть рисунки. Да! из Парижа! Ого! Выбирайте любую по альбому.

Фиорина засмеялась:

– Твое красноречие пропадает даром. Ты проповедуешь перед глухими. Эти иностранцы русские и не понимают ни единого слова из того, что ты им плетешь и чем их соблазняешь.

– Русские? помилуй мя, Господи! Это то же, что китайцы, или еще дальше?

– Нет, несколько ближе, но так же глупы.

– Помилуй мя, Господи! Во всяком случае, язычники?

– Нет, только еретики. В папу не верят.

– Помилуй мя, Господи! Это хуже язычников. О, девки! Вот проклятая наша профессия, помилуй мя, Господи! О, девки, прострели дьявол вашу душу, какие же вы бесстрашные, что, помилуй мя, Господи, идете спать с еретиками, которые не верят в папу! Вам потом не отмыться от поганых грехов ваших даже, помилуй мя, Господи, если вы возьмете ванну из святой воды, благословленной самим архиепископом миланским.

Фиорина отступила из светового квадрата в мрак тени.

– Не читай дурацких наставлений, куча! Ступай, ложись спать и целуйся с своей Розитой. Пользуйся случаем. Клавдии не всегда нет дома.

Мафальда оскалила зубы не то злобно, не то смешливо.

– Рина! А ты-то – какими судьбами сегодня, помилуй мя, Господи, – ты-то – почему в компании с Ольгою? Что скажет, помилуй мя, Господи, Саломея?

Фиорина возразила сухо:

– Саломея не выходила сегодня.

– Ах – да?

– Она нездорова.

– Ну еще бы!

– Это случай, что мы столкнулись с Ольгою на одном деле.

– Ну, конечно, помилуй мя, Господи! Однако вы – куда сейчас? К Ольге или к тебе?

– Ко мне. Ты видишь, что нас четверо. У Ольги – каморка.

Мафальда дико захохотала.

– Рина! помилуй мя, Господи! Саломея разобьет тебе рожу! Она ревнивая и Ольгу терпеть не может.

– Ну, уж, пожалуйста, следи за своими собственными похождениями, а мои оставь в покое.

Ольга отозвалась раздраженно:

– Все это – потому, что ты сплетничаешь Саломее черт знает что про нас обеих!

Мафальда злорадно хохотала.

– Ха-ха! А вы не играйте в двойную игру. Завела тетя дядю, так не зарься на других, не воруй чужого. Не ловите вперед друг дружку по всем закоулкам и глухим углам дома, чтобы целоваться, как любовники!

Ольга грубо прикрикнула:

– Мы в твою дружбу с Клавдией не вмешиваемся… А если порассказать ей завтра, как ты приютила пьяную Розиту…

– Ладно! – вдруг сухо оборвала Мафальда, – вы получили, что вам надо. Идите себе с вашими голубками. А я хочу спать.

– Прощай! Спасибо…

– Доброй ночи.

– Утра, хочешь ты сказать?

– Рина! – услыхала Фиорина, уже вдогонку, крикливый и насмешливый голос Мафальды.

– Ну?

– А, может быть, твои иностранцы закутят, разойдутся и захотят живых картин?

– Не думаю… Да если бы даже, тебе-то что?

– Не забудь тогда обо мне, помилуй мя, Господи! Я приду с Розитою, и мы, помилуй мя, Господи, покажем им, как прыгают дрессированные блохи.

– Хорошо уж, хорошо. Спи, старая бесстыдница! Ты пьяна.

– Что значит – пьяна? Не ты угощала. Когда женщина имеет достаточно силы, чтобы стоять на ногах, а во сне, помилуй мя, Господи, не падает с постели, – это выходит, она трезвая, как святая ладанка, а не пьяна. Не имеешь права, и подлость с твоей стороны называть подругу пьяницей. Помилуй мя, Господи. Конечно, вы модные барышни, а я простая девка с маисовых полей, но в мышеловке все мыши равны, помилуй мя, Господи. Право, Рина, скажи-ка своим ослам, чтобы они позвали нас с Розитою. Помилуй мя, Господи, – не раскаются, я чувствую себя в ударе быть забавной.

– Не такие синьоры, Мафальда. Не пройдет.

– Врешь, – врешь! Какие это бывают не такие синьоры? Все синьоры такие, помилуй мя, Господи. Если нет, то зачем бы им шляться в своих хороших пальто по нашим, помилуй мя, Господи, распутным ямам? Ты просто плохая подруга и не хочешь помочь бедной девке, помилуй мя, Господи, схватить десяток лир на хлеб и вино. Дай мне заработать, Рина. За это я не скажу Саломее, что вчера застала тебя с Ольгою, вон там, за углом, когда вы, помилуй мя, Господи, целовались, – сущие голуби.

Рина вспыхнула и выпрямилась.

– Ты стоишь, чтобы я надавала тебе пощечин!

Ольга тоже замахала руками, быстро залопотала что-то и начала хныкать и визжать.

Мафальда грохотала, подбоченясь и трясясь тучным туловищем.

– О-го-го! Суньтесь-ка! Даром, что вас две, а я одна, помилуй мя, Господи! Управлюсь в лучшем виде, обе будете разрисованы, как радуги, нарядные мои красавицы в бархате и шелку! Мне-то в рубахе – наплевать, помилуй мя, Господи, а что я с вашими шляпами сделаю, так вам обоим Фузинати по месяцу работы накинет…

– Безумная дура! Тряпка уличная! Девка за пять сольдо!

– Вот – как примусь орать, помилуй мя, Господи, подниму на ноги весь дом. Посмотрим, много ли останется от ваших мужчинок, как полезут из щелей наши молодцы. Я уже слышу, как за стеною, помилуй мя, Господи, ворочается Рыжий Антонино…

– Послушайте, – не без тревоги обратился Иван Терентьевич к Вельскому, – я не понимаю ни слова из того, что трещат эти прекрасные дамы, но мне сдается, что они ссорятся. У этой старой голой ведьмы рожа стала, как у бульдога. Смотрите, как она ворочает глазищами в нашу сторону. Кажется, мы попали в свидетели надвигающегося скандала.

– Э! В Италии все делают сильные жесты и даже закурить папиросу просят с трагической интонацией.

– Ну нет, здесь пахнет рукопашною. Поверьте опыту. И как они сыпят словами: словно из пулемета! Я уверен, что каждая из них за те три минуты, что мы здесь ждем, успела рассказать всю свою биографию – до родословия бабушки и дедушки с обеих сторон включительно… Однако, смотрите, смотрите: теперь и наши две – обе окрысились… да как люто! Моя-то булка рыжая уже руки в боки взялась… Скажите, пожалуйста! Туда же! темперамент! Я думал, что она только есть да спать, да висеть на локте умеет. Ох! Ох, Матвей Ильич! придется их разнимать. Ох, влетели мы в историю! Визга-то! писка-то! Вот уже, слышите, соседи ругаются и ставнями хлопают… Придется разнимать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.